

А. А. Болибрух

Воспоминания и размышления о давно прошедшем

Москва
Издательство МЦНМО
2013

УДК 51(41+57)

ББК 22.1г

Б79

Болибрух А. А.

Б79 Воспоминания и размышления о давно прошедшем. — М.: МЦНМО, 2013. — 128 с.

ISBN 978-5-4439-0115-2

Эта книга написана Андреем Андреевичем Болибрухом, выдающимся математиком, академиком РАН, лауреатом Государственной премии и высшей математической награды страны — премии им. А. М. Ляпунова.

Книга содержит воспоминания о годах учебы в Ленинградском физико-математическом интернате и Московском университете, а также стихотворения, написанные в юности.

В ней раскрывается еще одна сторона таланта этого многогранного человека — его литературный дар.

К сожалению, автору не удалось увидеть эту книжку при жизни. А. А. Болибрух умер 11 ноября 2003 года в возрасте 53 лет.

ББК 22.1г

Андрей Андреевич Болибрух

Воспоминания и размышления о давно прошедшем

Подписано в печать 28.10.2013 г. Формат 60 × 90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Печ. л. 8. Тираж 1000 экз. Заказ № .

Издательство Московского центра

непрерывного математического образования.

119002, Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (499) 241–74–83

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“».

121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Книги издательства МЦНМО можно приобрести в магазине

«Математическая книга», Большой Власьевский пер., д. 11.

Тел. (499) 241–72–85. E-mail: biblio@mccme.ru

ISBN 978-5-4439-0115-2

© Болибрух А. А., наследники, 2013.

© МЦНМО, 2013.



Книжка Андрея замечательна тем, чем был замечателен он сам, — добрым и честным отношением к людям. Именно ее мы можем дать нашим детям и сказать: «Вот так мы жили». Таким был Андрей. Помните о нем...

А. Л. Семенов

Эта книга была написана крупнейшим математиком конца XX века Андреем Андреевичем Болибрухом незадолго до смерти. Андрей Болибрух был исключительно талантлив как математик и поэт, но больше, чем математику и поэзию, он любил жизнь и людей. Он прожил короткую, но яркую жизнь, не лишенную парадоксальности. Разгадку парадоксов его жизни мы ищем в публикуемых ниже «Воспоминаниях...» и находим ее там, но лишь отчасти. Жанр книги необычен: очевидно, что автор знал, что умирает. В то же время в тексте полностью отсутствуют трагические нотки, нет даже намеков на грусть. Таково было отношение сильной личности Андрея к собственной смерти. На прощанье Андрей хотел послать своим ближайшим друзьям и коллегам сигнал нежного отношения к ним, но эта нежность не помешала ему быть откровенным. При жизни Андрея книга была издана на ксероксе в Институте новых технологий, тиражом 10 экземпляров. Интерес к книге вышел далеко за рамки узкого круга лиц, и А. Л. Семенов предложил издать книгу на деньги Института новых технологий для исключительно некоммерческих целей тиражом в несколько сотен. Решение об этом было принято при жизни Андрея, но готового тиража, к сожалению, он уже не увидел. Теперь к десятилетию со дня смерти Андрея Андреевича Болибруха мы предлагаем новое издание книги.

А. Ф. Харшиладзе

Андрей останется в моей памяти как личность абсолютно уникальная. С любопытством и легкостью относившийся к жизни, писавший стихи и друживший с искусствами, он неожиданно становится не просто выдающимся ученым, но одним из столпов всей

отечественной математики. К несчастью, такое обычно не прощается: Андрей был убит неведомо откуда взявшейся болезнью.

В. А. Варданян

Я мало был связан с Андреем на этом, увы, последнем этапе его жизни. Но раза два-три мне пришлось обращаться к нему с разными просьбами как к заместителю директора Стекловского института и имеющему административные функции в отделении математики РАН. Я с большим удовольствием мог видеть, что быстрый административно-академический взлет нисколько не испортил его характера. Напротив, если обычные бюрократы организуют свою работу на основе принципа Гельфанда—Цейтлина о минимизации взаимодействия (с внешним миром), то редкие люди, подобные Андрею Болибруху, стремятся к максимальной четкости, именно для того, чтобы максимизировать «взаимодействие», живя по известному принципу «за все в ответе».

А. В. Чернавский

Предисловие



Эта небольшая книжка почти целиком написана в Гематологическом научном центре, в котором я оказался на положении пациента в середине декабря 2002 года. Неприятная тяжелая болезнь, которой я заболел, требовала недель и даже месяцев пребывания в больнице (разумеется, с перерывами между курсами лечения), и я оказался перед необходимостью как-то перестраивать свою привычную жизнь, принаравливаясь к возникшим обстоятельствам.

Меня поместили в отдельный комфортабельный бокс со всеми удобствами, отыскивали замену компьютерному столу, и я смог работать. Может быть, не так интенсивно, как дома, но зато регулярно и достаточно методично. Когда я чувствовал себя совсем хорошо, мне удавалось заниматься математикой, и я даже написал здесь и подготовил к публикации несколько статей. В остальное время я писал фрагменты этих воспоминаний и редактировал написанное.

Мне давно хотелось описать те забавные случаи, которые со мной происходили, рассказать о той атмосфере 70-х годов, в которой я вырос, о своих пристрастиях и занятиях во время учебы в МГУ. Возможно, читателю будет интересно узнать, чем мы тогда жили, что читали, чем занимались.

Если мне удалось хоть как-то передать неповторимый аромат этого замечательного времени (замечательного хотя бы уже потому, что это было время нашей молодости), то я буду считать свою задачу выполненной. Если нет — надеюсь, читателя не слишком обременит груз сведений из жизни автора, в который в этом случае превратится книга, и он все же найдет для себя что-то созвучное тем эпизодам, которые в ней приведены.

Я приношу свою самую глубокую благодарность выдающимся врачам Андрею Ивановичу Воробьеву, Александре Михайловне Кременецкой и Сергею Кирилловичу Кравченко, а также всему замечательному медперсоналу ГНЦ РАМН, которые создали мне прекрасные условия для лечения и работы, без которых я никогда бы не смог написать эту книжку.

Посещение музеев



Для меня, как и для многих моих друзей, посещение интересной выставки, музея — большая радость. Но до недавних пор я и не подозревал, что делаю это как-то неправильно, пытаюсь объять необъятное и обойти музей за какие-нибудь 5-6 часов. Результатом такого осмотра является путаница ощущений и смешение художников и стилей.

Лишь несколько лет назад я научился правильному посещению музеев, и произошло это в знаменитом Прадо. Я приехал в Мадрид на 2-3 дня, часам к 4 устроился в гостинице и решил хотя бы на 2 часа заглянуть в этот музей. Поскольку времени было немного, я решил ограничиться картинами Босха, Веласкеса и Гойи, отложив на потом все остальное. И я не пожалел о принятом решении. Не говоря уже о том, что в Прадо собраны прекрасные картины этих замечательных художников, неторопливый осмотр позволил мне гораздо лучше почувствовать ту неповторимую атмосферу, которую создают подлинные шедевры, а также, как мне кажется, частично проникнуть и в некоторые замыслы художников.

Я имею в виду прежде всего знаменитую серию «Искушения святого Антония» Босха. В Прадо имеется по крайней мере 2 картины на эту тему, и я простоял около них не менее получаса, пытаюсь понять, что так заинтересовало художника в этом библейском сюжете.

Мне кажется, что Босх пытался решить для себя загадку необыкновенной стойкости святого: что только не предлагает ему Сатана, пытаюсь совратить! Здесь и прекрасные молодые женщины, и удивительные яства, и напитки, и многое другое. Однако святой Антоний остается тверд и неприступен, несмотря на эту мощную осаду. Конечно, проще всего было бы списать такое поведение на святость Антония и показать нам фанатика духа, не поддающегося ни на какие соблазны! Но Босх ищет другое, более человеческое объяснение ситуации.

Вглядевшись в первый вариант картины, замечаешь, что Антоний изображен на ней подслеповатым! Он просто не видит большей части происходящего вокруг него, и соблазны обходят его сто-

роной. На другой картине дальнзоркий взгляд святого устремлен вдаль за горизонт, и происходящее рядом вновь мало трогает его. Не то чтобы это был просто физический недостаток, нет, возможно, это связано с какими-то глубокими мыслями или некоторой отстраненностью от реального мира скорби, но именно это делает его неуязвимым для соблазнов. Не знаю, вкладывал ли Босх в картину те ощущения, которые я испытал, и верна ли моя интерпретация увиденного, но эти полчаса доставили мне громадное эстетическое удовольствие.

С тех пор я никогда не пытаюсь, придя в какой-либо музей, обожать его весь, а заранее намечаю себе маршрут и стараюсь посмотреть не более 3-4 художников.

В точности так я и поступил, когда оказался на один день в Лондоне. Я давно мечтал посетить Национальную галерею, тем более что у меня с давних пор был отличный, напечатанный в Венгрии, альбом с репродукциями знаменитых картин этого музея. Прежде всего я хотел увидеть в подлиннике «Венеру и Марса» любимого мною Боттичелли, а также решить для себя загадку знаменитой Венеры Веласкеса. Дело в том, что сколько я ни всматривался в репродукцию, не мог понять, чем же эта курносая худенькая женщина так очаровала ценителей.

Однако когда я оказался перед оригиналом, то почти сразу влюбился в картину. Она выглядела совсем не так, как в альбоме! Нежная бархатистая кожа, неповторимое, немного детское выражение лица создавали ощущение хрупкости и незащищенности и одновременно притягивали к картине настолько, что хотелось прикоснуться к Венере, провести рукой по легкому пушку на изогнутой поясице (и следа которого не было на репродукции). Нелегко было оторваться от картины и продолжить осмотр, и, уже отойдя от нее, я несколько раз возвращался обратно.

Поразил меня и оригинал Боттичелли. Напомню, что на этой картине изображен спящий Марс и Венера, которая (как я прочитал в одном художественном каталоге) сторожит сон своего возлюбленного. На репродукции в альбоме изображена прекрасная молодая девушка с задумчивым, немного равнодушным лицом, не слишком переживающая происшедший только что момент близости.

На оригинале все по-другому! На вас смотрит с картины уставшая опустошенная женщина, уставшая ждать и надеяться, поста-

вившая все на краткий миг любви и не знающая еще (но уже догадывающаяся), что проиграла. Удивительно, но она совсем не кажется красивой, несмотря на идеальные черты лица, может быть, от неуверенности в себе и от ожидания неизбежной потери возлюбленного.

Контраст с тем впечатлением, которое производила на меня репродукция, был настолько силен, что я долго не мог примириться с тем чувством протеста, которое вызвал во мне оригинал.

Поразила меня в галерее еще одна картина, на которую я набрел совершенно случайно уже в самом конце осмотра. Это была картина неизвестного мне итальянского художника на тему Саломеи и головы Иоанна Крестителя. Картин на указанный сюжет написано множество, но в этой меня поразили эмоциональные акценты, расставленные автором. Саломея стоит вся белая от ужаса (в буквальном смысле, она нарисована мазками белой краски по контрасту с остальными фигурами) и смотрит со скорбью и любовью на отрубленную прекрасную голову Иоанна. Каждый, кто читал знаменитую пьесу «Саломея» О. Уайльда, помнит, что там Саломея была влюблена в Иоанна, и трагедия его смерти стала для нее личной трагедией. Я даже подумал, не стоял ли когда-то Оскар Уайльд около этой картины так же, как я сейчас, и не возник ли у него сюжет пьесы под ее непосредственным воздействием.

Надо сказать, что не всегда знакомство с оригиналом оказывает такой мощный эффект, о котором я рассказал выше. Так, например, каюсь, оригинал «Герники» Пикассо в музее королевы Софии в Мадриде не добавил ничего нового к тем ощущениям, которые я испытывал, разглядывая репродукцию картины: ее графика совершенно одинаково смотрелась как в оригинале, так и в копии.

Тем не менее, именно с Пикассо связано одно из самых сильных моих ощущений во время пребывания в Барселоне на Европейском математическом конгрессе 2000 года. Часа за два до закрытия конгресса я решил отметить, зайдя в музей Пикассо буквально на несколько минут, и застрял там надолго! В этом музее собраны ранние работы мастера, которых я раньше совсем не видел, и эти работы поразительны! Я всегда любил Пикассо, но воспринимал его как авангардиста, даже не подозревая, каким потрясающим рисовальщиком в традиционном понимании этого слова он был. В музее представлены первые ученические копии с Веласкеса, которые де-

лал Пикассо, его потрясающие, проникнутые жарким южным солнцем пейзажи. У маленькой картины девочки с голубым бантом, набросанной на надорванном листе картона, я простоял 20 минут, не в силах стряхнуть то неповторимое очарование, которое воссоздал на нем Пикассо. И таких картин было немало: написанные в разной манере то красками, то графитом, они повернули Пикассо ко мне (точнее, наверное, меня к Пикассо) совсем другой стороной. Не то чтобы я перестал любить голубой период или позднюю графику мастера, но теперь я по-другому оценивал то, что сделал Пикассо в зрелые годы, понимая, какой задел, какая замечательная школа стояла за его авангардистскими экспериментами.



Случаи



Относиться к жизни как к театру абсурда в стиле Беккета — занятие неблагодарное: рано или поздно такое отношение ударит по тебе самому, и контраст, связанный с возвращением к реалиям жизни, будет особенно болезненным.

Однако нет ничего плохого в том, чтобы порой сохранять некую отстраненность от происходящих с тобой зачастую действительно довольно абсурдных или забавных случаев и даже получать удовольствие от их конструирования. Это не только позволяет забыть о давящих на нас сиюминутных заботах, но и пережить нечто вроде акта творчества подобно режиссеру, ставящему спектакль или снимающему фильм. При этом какое-нибудь заурядное событие типа посещения книжного магазина может превратиться в интереснейшее действо, как это случилось со мной лет тридцать назад.

Я жил тогда в коммунальной квартире на улице Руставели и учился в аспирантуре мехмата МГУ. Часов до четырех в квартире никого не было, и я мог спокойно заниматься математикой, но затем приходили с работы соседи, и я уходил побродить по городу, зайти в книжный или сходить на лишний билетик в театр на какой-нибудь интересный спектакль.

В тот день я заглянул в букинистический отдел книжного магазина на улице Руставели. Накануне мне посчастливилось купить там два стареньких номера «Нового мира» с «Театральным романом» Булгакова и «Словами» Сартра, и я рассчитывал на такую же удачу и в этот раз. Но, к сожалению, на полке стояло всего несколько неинтересных журналов и полный комплект устава Вооруженных сил СССР. Я взял на секунду в руки одну из книжек устава и услышал вдруг язвительный старушечий голос: «Вот вам что читать надо! Может быть, тогда людьми станете!» Я повернулся и увидел стоящую рядом совершенно злобного вида маленькую старушку в платочке и стертых тапочках, с неудовольствием разглядывавшую меня. «Зачем же вы так со мной говорите, вы же совсем меня не знаете», — попробовал возразить я. «Да что там знать, все вы одинаковы!» —

ответила старушка, и тут со мной в первый раз в жизни случилось то, что потом я в себе так ценил и даже культивировал. Я внезапно почувствовал некоторую театральную абсурдность и отстраненность ситуации, как будто оказался в модной постановке, где отчасти сам являюсь режиссером. Я посмотрел на нее и вежливым, но хорошо поставленным и уверенным голосом сказал: «Партия и правительство оценили мою работу орденом». Надо было видеть, что случилось с моей визави! Она ни на секунду не усомнилась в сказанном, лишь мигнула своими маленькими глазками и вся как-то опала, как будто из нее выпустили воздух. «Это что ж, из гениальных, что ли?» — все, что смогла спросить она в ответ. «Возможно», — ответил я и, посоветовав ей «никогда не заговаривать с посторонними», гордо удалился.

Я до сих пор считаю, что в тот день по непонятному мне самому вдохновению я создал маленький шедевр, и числю этот случай среди самых интересных.

* * *

В следующем случае, о котором я хочу рассказать, степень конструированности была значительно выше. Как-то в районе шести-семи часов, прогуливаясь по Москве и просматривая театральную афишу, добравшись до строки с театром кукол им. С. Образцова, я прочитал название даваемого в этот день спектакля: «День открытых дверей». Дело было весной, когда во многих вузах (в том и числе и в МФТИ, где я тогда уже начал работать) проходили так называемые «дни открытых дверей», на которые пускали без каких-либо пропусков всех желающих узнать что-то об институте. Разумеется, я испытал радостное ощущение от замеченного совпадения и не мог упустить такой случай.

Я подъехал к зданию театра за 15 минут до начала и, не торопясь, пошел мимо контролера в зал. «Ваш билет», — спросила контролер. «Какой билет? — удивился я. — У вас же сегодня день открытых дверей. Когда у нас в институте бывает день открытых дверей, мы пускаем туда всех без каких-либо пропусков». — «Вы не поняли, молодой человек, — попыталась вежливо объяснить мне контролер, — это у нас спектакль так называется, но билет-то на него все равно нужен». — «Нет, это вы не понимаете, — возразил я. — Поглядите, здесь нигде нет слова „название“, а все, что написано, так это то,

что у вас действительно сегодня день открытых дверей, а если это так, то, как у нас в институте и в другом месте, любой желающий может беспрепятственно пройти в здание театра и поприусутствовать на этом дне».

Дискуссия продолжилась к большой радости окружающих, некоторые из которых, кажется, уже начали понимать, что к чему, как вдруг у меня за спиной раздался сдержанный женский голос: «Молодой человек, пройдите со мной к окошечку администратора, я выдам вам билет в партер». Мудрая администратор, подоспевшая почти к самому началу нашей дискуссии и, как мне показалось, вполне оценившая мою эскападу, решила таким образом поощрить меня. И это действительно было серьезное поощрение, потому что в то время попасть в театр Образцова, да еще на новый спектакль, было очень трудно. Преодолев искушение (мне очень хотелось посмотреть спектакль, но я понимал, что мое согласие сведет на нет всю абсурдную красоту ситуации, сведя ее к элементарному интеллектуальному шантажу с целью добыть билет), я вежливо отказался и удалился с гордо поднятой головой.

* * *

Я не бог весть какой знаток современной русской поэзии, но так получилось, что хорошо знаком с творчеством одного очень популярного нашего поэта Д. А. Пригова. Познакомился я с его стихами благодаря моему другу Саше Харшиладзе, который как-то принес мне его знаменитый цикл про «милиционера» с такими замечательными строками:

В буфете Дома литераторов
Пьет пиво Милиционер.
Пьет на особый свой манер.
Не видя даже литераторов.

Стихотворения про народ, Куликовскую битву и многие другие очень понравились мне, и я одно время внимательно следил за его книгами.

Тем интереснее для меня тот замечательный случай, который произошел со мной несколько лет назад в пригородном поезде, идущем из аэропорта Брюсселя в город. В то время я был членом Ученого совета ИНТАСа, организации, которая распределяет

совместные гранты для ученых бывших республик СССР и их зарубежных европейских коллег. Членом Ученого совета была тогда также наш знаменитый социолог Татьяна Ивановна Заславская, мы оказались в одном самолете, встретившись еще при посадке, продолжили беседу в поезде, как вдруг какая-то женщина поднялась со своего места и подошла к нам. Оказалось, она встречала раньше Заславскую, они живо приветствовали друг друга, разговорились, и вскоре выяснилось, что наша визави прожила очень интересную жизнь в постперестроечной России.

Англичанка по паспорту из семьи белоэмигрантов, она с энтузиазмом отнеслась к тем переменам, которые наступили в нашей стране после 1985 года, и приехала в Россию, организовав здесь какой-то благотворительный фонд. Дальнейшее довольно типично для нашего лихого времени: погрузившись целиком в содержательную работу фонда, она не заметила, как постепенно финансовые рычаги организации перешли в совсем другие, далеко не безупречные, руки. В общем, ей пришлось в итоге оставить свое предприятие, но к тому времени она уже прочно осела в Москве, выйдя замуж за гражданина России.

«И кто же ваш муж?» — спросила Татьяна Ивановна. «Он художник и поэт», — ответила ее собеседница, и тут я, ощутив какой-то импульс, вмешался в их беседу. «Наверное, это Дмитрий Александрович Пригов», — сказал я.

«Да, — в наступившей внезапно тишине удивленно сказала Пригова. — А как вы догадались?!»

Мне нечего было ответить, ибо я сам не понимал, как ко мне пришло это озарение узнавания, я отшутился, мы заговорили о стихах, книгах, но долго потом наша собеседница с интересом и легким недоумением посматривала на меня. В конце нашей поездки она взяла мой телефон, пообещав позвать меня на очередное чтение стихов Пригова, но через месяц мой номер сменился, и я так и не смог получить удовольствия от неповторимой приговской манеры чтения, и никогда больше судьба не сводила меня ни с ним, ни с его женой.

* * *

Следующая история произошла со мной и моим другом Сергеем Резниченко в Киеве, где мы принимали выездные вступительные экзамены на Физтех в 1981 году. В какой-то из выходных мы отпра-

вились с ним в этнографический музей под открытым небом, находящийся в пригороде. Этот музей представлял собой деревенское поселение с типичными украинскими избами, убранством, ремеслами; здесь можно было перекусить, выпить горилки, посмотреть, как работают мастера народных промыслов.

Около одного из них, делавшего деревянные ободы для колес крестьянской телеги, мы остановились и стали свидетелями заключительной фазы этой непростой процедуры: вымоченную в воде заготовку бондарь изгибал, стараясь придать ей форму окружности. Я спросил его, как он рассчитывает длину заготовки, необходимую для изготовления обода нужного диаметра, и получил следующий удивительный ответ. Чисто эмпирически мастер обнаружил, что для этого заготовка должна быть в три раза больше требуемого диаметра, и исходя из этого действовал. Правда, какое-то чувство неудовлетворенности у него оставалось, и, узнав, что мы математики, он пожаловался, что каждый раз заготовки немного не хватало и ему приходилось дополнительно растягивать ее, чтобы уложиться в заданные размеры колеса.

Мы объяснили ему, что отношение длины окружности к ее диаметру равно числу π , которое примерно на 0,14 больше тройки, и надо было видеть ту радость понимания, которая появилась на его лице! Он понял, в чем дело, и долго мучившая его проблема была наконец решена!

А мы с Сергеем еще раз убедились в непреходящей практической ценности нашей науки, что бы там ни говорили бурбакисты. Нет, прав все-таки академик Арнольд, когда пишет, что математика — часть физики и т. д.



Дар



Иногда провидение наделяет нас странными способностями или даже талантами, которым не так-то просто найти применение в повседневной жизни. В возрасте 19-20 лет обнаружился такой талант и у меня: оказалось, что я без особых затруднений способен купить лишний билет на любой самый модный театральный спектакль в любой театр, будь то «Современник», театр на Малой Бронной или знаменитая и недоступная в те годы Таганка.

Началось все с «Современника» 1970-х годов, располагавшегося на площади Маяковского, и первым спектаклем, на который я попал таким образом, был спектакль по «Обыкновенной истории» Гончарова. Помню театральную толпу у входа и какую-то девушку, у которой я спросил лишний билет, и, о чудо, тот самый голубой в полоску фирменный билет «Современника» у меня в ладони. Спектакль был хорош, с блистательными Казаковым и Табаковым, смотрелся он на одном дыхании и оставил у меня вместе с тем способом, с помощью которого я на него попал, ощущение какого-то особого праздника.

Через пару дней я попробовал достать таким же образом билет на «Назначение». Здесь все было уже не так просто: пришлось опросить несколько десятков человек, стоящих у театра, и в итоге билет я стрелнул у выходящего из метро «Маяковская» молодого человека лет 20. Длилась вся процедура поиска билета минут пятнадцать и потребовала от меня быстроты и умения определять потенциальных носителей лишних билетов. Уже гораздо позднее, когда я достиг, считаю, высокого профессионализма в этом деле, я понял, как велик спектр желающих продать лишний билетик: от тех, у кого просто заболел или по какой-либо другой причине не смог внезапно пойти на спектакль друг или подруга, до милых интеллигентных девушек, для которых лишний билет в кармане был ненавязчивой благопристойной манерой познакомиться с приличного вида молодым человеком.

Таким манером я пересмотрел весь репертуар театра «Современник», не пропускал ни одной премьеры А. Эфроса в театре на Малой Бронной, посетил многие спектакли в театре на Таганке. Последний

театр с точки зрения доставания лишних билетов был для меня самым нелюбимым. Уж больно суетливой и агрессивной казалась мне здешняя театральная публика, слишком велика была конкуренция, и, что самое главное, многие стрелявшие здесь лишние билеты делали это ради немедленной перепродажи, что я всегда считал нарушением своеобразного «принципа олимпизма». Тем не менее, мой метод поиска лишнего билета был всегда одним и тем же. Я приходил минут за 45 до начала спектакля и несколько раз прогуливался мимо стоящих у театрального подъезда людей, определяя при этом, иногда чисто интуитивно, потенциальных обладателей лишних билетов. Иногда, поддаваясь какому-то импульсу, я тут же спрашивал и получал билет, но чаще я оставлял подобные вопросы на потом, потому что пришедшие заранее зрители обладают замечательной способностью ждать своих непутевых опаздывающих друзей до последнего момента.

Затем я уходил от театра к ближайшей станции метро и здесь начинал тотальный опрос всех потенциальных зрителей спектакля. Дело в том, что чисто психологически, выйдя из метро и поднявшись на поверхность, трудно отказаться от продажи имеющегося лишнего билета: во-первых, непонятно, что там за ситуация у театра, во-вторых, трудно отказать первому спросившему билет и т.д.

Если билет так и не удавалось купить у метро, я минут за 10-15 до начала спектакля возвращался к театру и пробовал купить билет там у тех из ожидающих, кого заметил вначале.

Эта простая метода в моем случае ни разу не дала сбой, и я не помню ни одного случая, когда бы я не смог купить лишний билет на интересующий меня спектакль. Думаю, что здесь примешивался какой-то еще личный, присущий только мне фактор, что-то иррациональное, трудно объяснимое. Помню только, что когда я был в «хорошей форме», билеты доставались мне особенно легко. Мне иногда казалось в таких случаях, что, находясь у входа в театр, я погружался в почти материальную атмосферу ожиданий, эмоций стоящих там людей и непостижимым образом чувствовал заранее, кто продаст мне билет. В такие дни я совершенно не суетился, не барражировал около метро и даже не обращался ни к кому с вопросами. Несмотря на большое число охотников за лишними билетами, мне в этих случаях приносили и предлагали билеты сами их обладатели. Так я попал на «Звезду и смерть Хоакино Мурьеты», на «Галилея» и на

блистательного «Отелло» Эфроса. Кстати, последний спектакль совершенно поразил меня своими мизансценами. До сих пор помню сцену с Яго — Дуровым, когда он внезапно, ничего не говоря, под музыку подходит к торчащему из стены штырю и неожиданно делает горизонтальную стойку на руках. На мой взгляд, эта мизансцена и то, как она была сыграна, сказала больше о характере Яго, чем сам текст Шекспира.

Но вернемся к моей способности доставать лишние билеты. Мне кажется, это был своеобразный дар, непонятно как возникший, но доставивший мне массу радостей и любопытных приключений.

Когда я пересматривал почти все интересующие меня спектакли или когда мне просто не хотелось идти в театр, я иногда ради интереса покупал билеты другим: друзьям или случайным знакомым. С особым удовольствием вспоминаю в связи с этим случай, произошедший как раз перед спектаклем «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты» в театре Ленинского комсомола. Как-то, прогуливаясь перед началом этого спектакля по улице Чехова, я заприметил двух симпатичных девушек, пытавшихся «стрельнуть» билетики на спектакль. После нескольких неудачных попыток они совсем отчаялись и ушли в находящуюся рядом булочную передохнуть и утешиться булочкой с чаем. Я как раз находился в своей лучшей форме, поэтому легко и быстро купил два лишних билета (на соседние места!), а затем, зайдя в булочную, подарил их этим девушкам. Надо было видеть их лица, удивленные, обрадованные и озадаченные. Получить билет в булочной, да еще задаром! Я не стал ничего говорить, заводить знакомство и т. д. Мне хотелось, чтобы эта история запомнилась им на всю жизнь, а сам я вновь ощутил себя постановщиком неплохой пьесы-миниатюры.

Кстати, эта способность доставать билеты как-то пригодилась мне совсем в другой ситуации. Утром 31 августа 1972 года я лежал со своими друзьями Гришей Амирджановым и супругами Стесиными на пляже в Гурзуфе и играл в преферанс. Оставшись без двух на шестерной, я почувствовал, что мне невыносимо надоело и Черное море, и этот галечный пляж, и даже мои друзья, которых я очень любил и с которыми редко расставался. Я бросил карты в сторону Гриши (благодаря которому во многом и остался без двух взяток) на подстилку и сказал, что с меня довольно и что я уезжаю в Москву. «Но у тебя же нет билета, — ответил Григорий, — а достать его

в этот день совершенно нереально». — «И тем не менее, сегодня вечером я буду дома, можешь позвонить проверить», — сказал я с какой-то непонятной самому себе уверенностью. Интересно, что я действительно почему-то не испытывал никаких сомнений на этот счет.

Быстро собравшись, я вышел на шоссе и сел в первый же троллейбус, следующий по маршруту Ялта–Симферополь, в котором по какому-то стечению обстоятельств нашлось ровно одно свободное место. Приехав в Симферопольский аэропорт, я немедленно отыскал кассу брони, то есть такую кассу, в которой в последний момент продают неостребованные по брони билеты. К сожалению, у этой кассы уже стояла очередь человек в тридцать в ожидании тех же самых билетов, однако рядом с означенной кассой, буквально на расстоянии одного метра находилось еще одно окошечко без надписи, наглухо закрытое. По какому-то наитию я стал прямо к этому окошечку. Надо ли говорить, что через 5 минут это окошечко неожиданно открылось, кассирша продала ровно один билет на Москву — мне! — и вновь закрылось. Все произошло так быстро, что никто из соседней очереди не успел среагировать до того, как я отдал внутрь кассиру свой паспорт. И хотя потом мне досталось от окружающих немало «лестных» эпитетов, сделать уже ничего было нельзя. Через 30 минут я вылетел в Москву и через 8 часов, считая от момента неудачной картежной игры на пляже, я уже был у себя дома к громадному удивлению позвонившего вечером Григория. Этот случай так потряс его, что он с тех пор приписывал мне некие сверхъестественные способности даже в тех ситуациях, где я терпел полное фиаско. Мне кажется, в этой истории с авиационным билетом мне помогло то, что я правильно настроился на ситуацию, примерно так, как я делал в случае покупки театральных билетов: я заставил себя не слишком хотеть этого желанного билета и отнестись ко всему происходящему с изрядной долей отстраненности.

Однако вернемся к моим театральным экспериментам. Они порой вели к очень интересным знакомствам и даже романам. Более других запомнился мне здесь случай, произошедший у Театра сатиры, куда я забрел на премьеру спектакля «Бег». Мне продала билет очень приятная молодая девушка интеллигентного вида, ясно дав понять, что это действительно лишний билет, а не повод для знакомства, и мы расстались до начала спектакля.

До сих пор помню то жуткое впечатление, которое произвел на меня спектакль. Мне кажется, что это была худшая из всех когда-либо виденных мною премьер — полная неудача хорошего режиссера Плучека и всего актерского коллектива! Игра казалась мне невыносимо фальшивой, и после первого действия я покинул зал, буквально сбежав из театра. При выходе я столкнулся со своей соседкой, поступившей аналогично по тем же самым соображениям, мы разговорились, и я поехал ее провожать. Она жила на одной из станций Казанской железной дороги, мне было по пути, а собеседницей она была замечательной: прекрасно разбиралась в театре, литературе, живописи. Мы быстро выяснили, что у нас масса общих интересов и схожих оценок, и тут речь зашла о Солженицыне. Когда она узнала, что я не читал ничего из книг Александра Исаевича, кроме опубликованных в «Новом мире», она всплеснула руками и тут же вынула из сумочки роман «В круге первом», сказав, что я обязательно должен эту книгу прочесть. Мы обменялись телефонами, и я сошел на своей станции с книгой Солженицына в руках.

Мне много приходилось читать впоследствии о трудных советских временах, когда за прочтение литературы и ее распространение привлекали к ответственности, но должен честно сказать, что ни я сам, ни мои друзья никогда не попадали в связи с этим в какие-либо неприятные ситуации. Когда я получал перепечатку Солженицына от Вали (так звали мою новую знакомую), я ни на секунду не испытал никакой настороженности, саму же книгу я читал, по обыкновению, в метро, нимало не беспокоясь по этому поводу. Возможно, и здесь мне помогала моя философия. Я всегда любил свою Родину, был абсолютно лояльным членом общества и поэтому считал, что, несмотря на любые дурацкие распоряжения и указания, имею полное право читать все, что хочу. Я и сейчас считаю, что чрезмерная закрытость информации сыграла резко отрицательную роль в судьбе СССР, и уверен, что, закрывая Солженицына, Платонова и даже Джойса, власти лишь создавали искусственный интерес к этим книгам, который в случае открытости принес бы им гораздо меньше вреда.

Так благодаря Вале я перечитал почти всего Солженицына. Виделись мы нечасто, в основном в театрах и на выставках, и знакомство это как-то само собой сошло на нет.



Библиотеки



Аббревиатура ВГБИЛ (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы) стала родной для меня в аспирантские годы. Дело в том, что, начиная с первого курса университета, я жил в коммунальных московских квартирах (сменив три из них за 7 лет), заниматься чем-либо осмысленным там было невозможно, и все свое свободное время я проводил в читальных залах замечательных московских библиотек. Лучшей, самой комфортабельной из них была, безусловно, знаменитая «Иностранка». Никогда, ни раньше, ни позже, я не встречал более удобной для работы библиотеки. Просторные читальные залы с фантастически удобными шведскими письменными столами и креслами, уютные настольные лампы и ненавязчивое общее освещение — все это создавало неповторимую атмосферу, так способствующую любому виду творчества. В просторных холлах библиотеки периодически устраивались интересные выставки, здесь можно было посидеть, почитать газеты или просто погулять, заложив руки за спину, по мягкому упругому ковру в полной тишине и покое. Сколько километров отмерил я по этому маршруту, доводя до ума полученный мною результат по 21-й проблеме Гильберта или сочиняя очередную поэму-перевертень, находясь под влиянием любимого мною В. Хлебникова!

Рядом, через небольшую площадь в высотном здании на Котельнической располагался знаменитый кинотеатр «Иллюзион», и я часто совмещал посещение библиотеки с заходом в кинотеатр, порой делая это в обеденное время. Этому способствовала четко продуманная система контроля библиотеки: вы могли, не сдавая книг, а просто оставив читательский билет у входа, покинуть библиотеку на 3-4 часа, а затем вернуться. Этого времени вполне хватало на то, чтобы посетить «Иллюзион», или просто погулять на свежем воздухе, или зайти в замечательную кондитерскую в высотном здании, где продавался тогда прекрасный московский черный шоколад (увы, исчезнувший куда-то с началом перестройки либо ставший совершенно несъедобным).

Сколько замечательных фильмов, составляющих классику мирового кино, пересмотрел я в «Иллюзионе»! Всего Феллини, Антониони, Рене Клера, Бунюэля, Фассбиндера и многих-многих других. Помнится, на меня особое впечатление произвели тогда два фильма Феллини: «Джульетта и духи» и малоизвестный у нас фильм «Белый шейх». Было в этом фильме какое-то свойственное только Федерико Феллини завораживающее настроение, очень созвучное мне в те годы.

Между первым и вторым этажом «Иностранки» располагался телефон-автомат, сыгравший замечательную роль в жизни многих студентов и студенток МГУ. Дело в том, что библиотека первоначально имела уникальный статус: здесь можно было найти литературу не только по филологическим наукам или истории, но и по математике, физике, поэтому здесь пересекались студенческие потоки как с гуманитарных, так и с естественнонаучных факультетов университета. Ну а знакомства, конечно же, происходили у телефона, где в поисках «двушки» сталкивались представители разных специальностей и взглядов на жизнь. Некоторые из моих друзей нашли здесь «свою судьбу», а наш круг общения значительно расширился благодаря именно ВГБИЛ. К сожалению, впоследствии новый директор библиотеки стала избавляться от естественнонаучной литературы, чем, на мой взгляд, нанесла невосполнимый демографический урон студенчеству МГУ.

Здесь, в «Иностранке», я впервые познакомился с сюрреалистической живописью, заказав как-то по каталогу альбомы С. Дали и М. Эрнста. Надо сказать, что вначале я получил отказ, и меня попросили объяснить, зачем мне, математику, неспециалисту в живописи это нужно. Однако я быстро нашелся, объяснив, что занимаюсь топологией, связанной с пространственными формами окружающего нас мира, после чего разрешение и альбомы были получены.

Здесь я впервые прочитал напечатанного еще в тридцатые годы в журнале «Интернациональная литература» «Улисса» Дж. Джойса, здесь впервые познакомился со ставшими моими любимыми поэтами Г. Аполлинером и П. Элюаром.

Можно сказать, что на длительный период Библиотека иностранной литературы стала для меня домом, и я с нежностью вспоминаю этот счастливый период своей жизни.

Очень часто я проводил время и в читальном зале городской библиотеки имени Н. А. Некрасова на Пушкинской площади. В тесном, переполненном, но уютном зале библиотеки я готовился к экзаменам, писал рефераты по философии и, конечно, читал интересные книги, которые были недоступны в абонементе. К достоинствам Некрасовки относилось то, что она была очень удачно расположена: театры, кино, да и живущие в центре мои друзья были всегда под рукой. Кроме того, там была прекрасно отлажена процедура выдачи книг: вы получали их немедленно после заказа, в отличие от других крупных библиотек, где иногда приходилось ждать часами.

С особым удовольствием я вспоминаю районную библиотеку им. Покровского, располагавшуюся в те годы в старинном, пропахшем временем и манускриптами особняке на улице Большая Коммунистическая на Таганке. Я очень любил бывать в читальном зале и в абонементе этой библиотеки. Там работали замечательные молодые девушки, которые быстро заметили внушающего доверие нового читателя и допустили его к святой святых абонементу, к двум большим ящикам книг дореволюционного издания, со старой орфографией в старомодных кожаных переплетах. Именно там я впервые прочитал «Серебряного голубя» А. Белого и «Мелкого беса» Ф. Сологуба, несколько рассказов А. Ремизова и многое другое.

Было и еще одно притягивающее свойство у этой библиотеки, точнее, у того места, где она находилась. Старая, тогда еще не разрушенная Таганка, расположенная вблизи от центра, казалась мне иногда совершенно заброшенным таинственным местом с вязью закрученных переулков, заканчивающихся тупиками, со старыми тополями и полуразрушенными церквями, с замечательным нездешним Андрониковым монастырем, стоящим на небольшом холме на берегу Яузы. Как часто, гуляя вокруг стен монастыря, я представлял себе, какой замечательный вид открывался отсюда в те годы, когда еще Москва не расстроилась вширь и ввысь, когда она еще горела, как на пожаре, куполами своих храмов.

Особенно таинственно выглядела Большая Коммунистическая улица июньскими ночами в пору тополиного пуха. Гуляя по ней в это время и сочиняя стихи, я часто вспоминал замечательные строки А. Белого:

Серебряные тополя
Колеблются из-за огады,

Разметывая на поля
Бушующие листопады.

В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, —
Их жалобное шелестенье,

О сердце тихое мое,
Сожженное в полдневном зное, —
Ты погружаешься в родное,
В холодное небытие.

А по другую сторону Таганской площади был свой особый мир маленьких одноэтажных домиков с небольшими садами, так напоминавшими знаменитое жилище Мастера, писавшего свой великий роман! И в самом центре этого таинственного великолепия располагался дом-музей В. В. Маяковского. Мне с большим трудом удалось записаться в читальный зал этого музея (для чего пришлось принести с мехмата справку о том, что я занимаюсь в философском кружке и в связи с этим мне совершенно необходимо посещение личной библиотеки Маяковского). Как часто, сидя в полном одиночестве в этом музее и держа перед собой очередную симфонию А. Белого или роман Ф. Сологуба, я поражался своему везению и удивлялся полному отсутствию других посетителей. Впрочем, мне было хорошо одному в прохладных комнатах библиотеки с пяти-томником В. Хлебникова на коленях, мне никто не был нужен, я не испытывал тогда потребности поделиться прочитанным, потому что никак не мог начитаться всласть и потому, что после Хлебникова меня еще ждал В. Соловьев, а после Соловьева почти совершенно неизвестная у нас Елена Гуро с ее «Небесными верблюджатами».

Наверное, я никогда больше не был так счастлив и самодостаточен, как тогда, в далекие 70-е годы, находясь в доме-музее Маяковского.



Коллекционирование



Кто из нас хотя бы раз в жизни не поддался страсти коллекционирования? И что только я не пытался коллекционировать за свою жизнь! Здесь и традиционные для многих из нас марки, и старинные монеты, и ракушки, найденные на берегу моря, и т. д. Я уж не говорю о таких обязательных в дни моей школьной юности вещах, как гербарии (которые зачастую помогали собирать детям их родители только для того, чтобы сдать в сентябре школьному учителю биологии и забыть, чем отличается лиственница от ели).

Но настоящей моей страстью в 13-15 лет стало коллекционирование бабочек. Я увлекся энтомологией, когда проводил лето в пионерском лагере под Таллином, где тогда служил мой отец (после окончания академии Генерального штаба он был назначен командиром знаменитой Панфиловской дивизии, расквартированной в Эстонии). Я обзавелся сачком и научился правильно ловить и консервировать бабочек так, чтобы не повредить их нежные крылья и не стереть невзначай мягкую пыльцу, чувствительную к самому легкому прикосновению. Для этого, разумеется, надо было знать о сроках лёта различных мотыльков, об их привычках и местах обитания, и я с громадным удовольствием прочитал массу литературы по этому поводу.

Так, например, мне раньше никогда не удавалось поймать находящегося в приличном состоянии мотылька под названием баграец огненный; все экземпляры, которые мне попадались, имели какие-то обтрепанные крылья и не годились для коллекции. Позднее я прочитал в книге по энтомологии, что этот вид бабочек появляется на свет в самом начале июля, и единственный способ добыть хороший экземпляр — поймать бабочку в первый же день лёта, пока ее нежные крылья еще не обмахрились от соприкосновения со стеблями трав и ветками кустов.

Каким же удовольствием для меня было, встав рано поутру и разыскав теплую, утопающую в цветах поляну, ждать прилета бабочек. Я знал, где обычно предпочитали пить нектар, помахивая

полупрозрачными крыльями, перламутровки, какие места (обычно на затерянных песчаных дорожках) предпочитали величавые траурницы, где любили порхать непоседливые адмиралы, а где неспешно тусовался основательный дневной павлиний глаз.

Пожалуй, лучшим в моей коллекции был изящный махаон, редкий в наших местах, как и любой другой парусник. Я часто возвращался домой, так и не поймав ни одной бабочки, не потому, что не мог, а потому, что никогда не ловил их про запас, если в моей коллекции уже были аналогичные экземпляры. Я получал громадное удовольствие от самого процесса созерцания их жизни, если угодно, от общения с ними как с проводниками в любимый мною и неподаваемый в своей красоте мир природы.

Но, пожалуй, лучшей моей коллекцией бабочек стала коллекция, состоящая из нескольких экземпляров малоизвестного мотылька одного вида с длинным названием углокрыльница «эс белое». Такое название эта бабочка получила за форму крыльев и за маленькую букву «С», как будто масляной краской нарисованную на ее брюшке. Дело в том, что эта бабочка обладает замечательным свойством хамелеона: цвет ее брюшка меняется в зависимости от того, на чем она сидит. На дереве этот цвет — коричневатый, на стене деревянного домика приобретает светлую окраску. Особенно я гордился экземпляром, пойманным на куске кирпича: легкий бордовый оттенок никогда ранее не встречался мне среди углокрыльниц.

На самом деле эта коллекция была прекрасной иллюстрацией к теме «Изменчивость и приспособляемость в природе», но, к большому моему сожалению, она потерялась при очередном нашем переезде из Таллина в Калининград.

Забавно, как трансформировалась моя страсть к коллекционированию в более зрелые студенческие годы. Уж не помню, какое событие стало первоначальным импульсом к этому, но на первом и втором курсах я начал собирать коллекцию счастливых автобусных, троллейбусных и трамвайных билетов, но не всех, а лишь таких, у которых первые три цифры с точностью до перестановки совпадали с последними тремя. Причем я собирал их и классифицировал так же, как когда-то бабочек: на обороте билета я помечал время, место и номер маршрута, на котором мне попался данный экземпляр.

Трудно сказать, зачем я это делал. Здесь не было ни желания поставить какой-либо статистический эксперимент, ни желания покрасоваться перед друзьями своим экстравагантным хобби. Но и сейчас, разглядывая свою коллекцию, благодаря этим пометкам я вдруг вспоминаю и те уютные московские троллейбусы, в которых я прятался от дождя на заднем сиденье, и ту атмосферу студенческих лет, которая уже подзабылась с годами. По-видимому, это было подсознательной попыткой остановить мгновение, привязать радостное ощущение бытия в молодые годы к какому-то материальному носителю, чтобы оно не ушло полностью и безвозвратно с течением времени.

А может быть, в этом состоит смысл любого коллекционирования?



Поэзия



Так получилось, что именно любовь к бабочкам стала для меня первоначально пропуском в труднодоступный и закрытый для многих мир поэзии.

Помню, что как-то, находясь в пионерском лагере и ускользнув из палаты во время тихого часа (который был для меня настоящей пыткой, потому что я в детские годы никак не мог заставить себя спать днем), я случайно забрел на скрытую в лесу небольшую солнечную поляну, поросшую высокими, почти в мой тогдашний рост цветами, и остановился в растерянности: цветы оказались живыми! Они взмахивали лепестками, переливались всеми цветами радуги, а сама поляна, казалось, была пропитана жарким июльским зноем, пересыпана горячим полуденным солнцем. Это была поляна бабочек: блестящие перламутровки, степенный дневной павлиний глаз, заурядные крапивницы и лимонницы как живым ковром покрывали ее. Никогда, ни до, ни после, я не видел ничего подобного! Я постоял, не шелохнувшись, на краю поляны, а затем тихо, боясь разрушить это великолепие, ушел.

Весь день я испытывал странное ощущение, неведомое мне ранее: казалось, весь окружающий меня такой привычный мир изменился, чувства мои обострились до предела. Я впервые услышал неспешный разговор сосен, поскрипывающих под порывами свежего вечернего ветра, негодующий шум клена, пытающегося поймать ветер в свои сети, тоску и сырость оврага на краю лагеря. Я не понимал, что со мной происходит, но эти новые ощущения так захватили меня, что я старался избегать обычных пионерлагерных развлечений, чтобы как можно дольше продлить, чтобы невзначай не спугнуть этого странного очарования.

Тогда я, конечно, не понял, что это было первым прикосновением к тому, что позднее надолго стало самой большой радостью и смыслом моей жизни, прикосновением к поэзии. Ибо, на мой взгляд, поэзия — это прежде всего особое мироощущение, сдвиг в обыденном восприятии окружающей нас действительности, де-

лающий нас частью природы и мира в целом, сознающей себя в неразрывной связи с этим миром. Все остальное — поэтическая продукция, например, — это лишь ритмическая фиксация такого мироощущения, во многом связанная с чисто техническими возможностями субъекта поэзии.

А именно мое мироощущение непостижимым образом изменилось в тот день. Потом это странное и волнующее единение с окружающим меня миром прошло, и я вновь с наслаждением окунулся в обычную круговерть пионерлагерной жизни с кострами, линейками и военными играми, купанием и танцами в клубе перед отбоем. Но изредка пережитое когда-то ощущение возвращалось ко мне, и тогда я искал уединения и избегал своих друзей с их шумным лагерным времяпрепровождением.

Следующее соприкосновение с поэзией я пережил в 10-м классе физико-математической школы-интерната № 45 в Ленинграде, где я учился после успешного выступления на Всесоюзной физико-математической олимпиаде 1965 года (я получил на этой олимпиаде диплом второй степени по математике). О замечательном времени, которое я провел в интернате, рассказывается в этой книжке, напому лишь, что многие из моих друзей писали в ту пору стихи. Не миновал этой участи и я. Я тогда впервые познакомился с поэзией Саши Черного, и его показной антиэстетизм совершенно пленил меня. До сих пор вспоминаю его замечательные строки из стихотворения «Обстановочка»:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

Но настоящим открытием для меня, первым по той силе воздействия, которое он на меня оказал, стал ранний Маяковский. Я раньше и представить себе не мог, что возможно так писать о самых простых окружающих нас вещах, как будто они совсем не те, чем кажутся.

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полосы;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

Мы с нашими молодыми студентами-воспитателями устроили вечер Маяковского, на котором читались его знаменитые «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и другие стихи раннего периода, с бурным и немного наивным обсуждением прочитанного.

Не могу отнести В. В. Маяковского к числу своих самых любимых поэтов, как и Сашу Черного, но именно под воздействием их произведений сформировалась моя первоначальная любовь к занятиям поэзией, и их несомненное влияние просматривается в первых написанных мною стихах.

Как научиться «понимать», чувствовать поэзию, как войти в поэтический мир поэта, разглядеть за замысловатой порой техникой его собственный взгляд на мир, испытать тот сдвиг в собственном мироощущении, который приходит (если последнее удастся) под мощным воздействием собственного оригинального мировосприятия, свойственного каждому настоящему поэту?

Надо вчитываться в целые циклы его стихов, а не в отдельные, пусть самые замечательные стихотворения, терпеливо преодолевая технические и прочие трудности. Это очень тяжелая работа, но зато какая награда ждет нас в конце успешно пройденного пути! Вы вдруг начинаете смотреть на мир глазами читаемого поэта, замечать то, мимо чего раньше проходили, и ваше мировосприятие меняется под его воздействием, необратимо и навсегда обогащая его новыми красками и тонами.

Помню, как долго я однажды пытался вчитаться в Поля Элюара, который неудержимо притягивал меня, но в последний момент ускользал как угорь, и к вечеру ничего не оставалось от прочитанного, кроме невнятной тяги читать еще и еще. Но вот однажды летним утром я проснулся с каким-то новым, неясным, но тревожным и волнующим ощущением. Я отодвинул штору и зажмурился от яркого солнечного света, какими-то волнами струящегося от лежащего рядом сонного пруда. Это были те самые осколки солнца, разбившегося о реку, о которых я читал у Элюара. Я взял томик его стихов и заново прочитал то, что еще вчера казалось мне далеким и непо-

нятным, и летнее мироощущение поэта вошло в меня, полностью изменив окружающий меня мир. Краски, тона — все стало другим, непривычным и новым. Я долго потом находился под впечатлением пережитого, и хотя впоследствии все вернулось на круги своя, тем не менее что-то от мировосприятия Элюара осталось во мне, и даже теперь, через много лет, я часто воспринимаю летний луг, пересыпанный солнцем, через стихотворения Поля Элюара.

Такой же непростой путь я прошел (и также был с лихвой вознагражден впоследствии) с поэзией М. Цветаевой, Б. Пастернака, Г. Аполлинера, А. Белого. Особенно потрясла меня тогда «Сестра моя жизнь» Пастернака.

Радость слияния с миром, восхищение им и ненасытность жизни, которые сконцентрированы в этом цикле, могли бы составить предмет многих и многих томов. Но здесь все в нескольких десятках стихотворений, как в переполненном флаконе под давлением: брызжет, не дает опомниться, оглушает и лишает сил от невозможности вновь и вновь воспринимать захлебывающуюся, полную восторга скороговорку поэта:

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.

* * *

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

* * *

В занавесках кружевных
Вороньё.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

* * *

Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!

Не понимаю, не верю тем, кто говорит о трудности восприятия ранних стихов Пастернака, о их зашифрованности и даже некотором формализме. По-моему, если вы способны на такую концентрацию восторга от самого бытия и от окружающего вас мира, то проще и естественнее и не скажешь.

Иногда, обсуждая творчество Пастернака, противопоставляют его стихи из романа раннему творчеству, говоря о стихотворениях доктора Живаго как о вершине Пастернака. Человек меняется, стареет, делается мудрее. Его восприятие жизни как прекрасного, но немного оглушительного симфонического оркестра уступает место прочувствованной негромкой партии скрипки с пронзительно ясной мелодией. Именно так я воспринимаю его поздние стихи. Для меня они не лучше и не хуже ранних, они другие, и возможно, когда я состарюсь и сделаюсь философичнее и мудрее, эти стихотворения займут место «Сестры моей жизни» и других ранних стихотворений Пастернака в моей шкале самых любимых стихотворений.

Каждый человек, которого когда-либо просили назвать своего любимого писателя или поэта, знает, какой дискомфорт испытываешь при попытке ответить на этот с виду простой вопрос. Поди ответь, если таких поэтов несколько, как их упорядочить, как выделить одного-единственного?

Но для меня лично ответ на этот вопрос давно известен. Мой самый любимый поэт, без которого я просто не стал бы тем, кем стал (а стал бы каким-нибудь другим человеком), — это Велимир Хлебников.

Я давно слышал о Хлебникове, читал о нем у Маяковского, видел отдельные стихотворения, но он был длительное время для меня одним из многих, до которых я еще не добрался и которых оставлял на потом.

Но как-то сырым промозглым ноябрьским вечером, прогуливаясь по Калининскому проспекту, я остановился у стенда с «Литера-

турной газетой», целая полоса которой была посвящена творчеству В. Хлебникова.

То, что я испытал, прочитав прекрасную подборку стихов поэта, невозможно выразить словами: не было ни периода привыкания и адаптации, ни какого-то естественного в таких случаях недопонимания, я воспринял его стихи как нечто родное и давно ожидаемое, как что-то, без чего я непонятно как жил все это время.

По-видимому, и по своему мировосприятию, и по тому поэтическому опыту, который у меня тогда уже был, я был готов к этой встрече, и судьба не стала ее откладывать на длительный срок. Так в мою жизнь навсегда вошел Велимир Хлебников.

Потом были и вечера в доме-музее Маяковского с пятитомником Хлебникова, о которых я пишу в этой книге, рассказывая о московских библиотеках, и переписывание любимых стихотворений для себя и своих друзей, и многое другое. Но самое главное состояло в том, что Хлебников стал для меня совершенно необходим: мне кажется, я длительное время воспринимал мир через призму его ощущений, а мое отношение к слову, к его роли и структуре целиком сформировалось под влиянием Хлебникова. Хлебников — это часть (возможно, лучшая и счастливейшая) моей жизни, без которой мне себя просто невозможно представить.

Я не привожу здесь цитат из стихотворений Хлебникова, не рассказываю о любимых стихах, потому что все это содержится в той небольшой заметке о поэте, которую я написал в 1985 году к его 100-летию и которая помещена в этой книжке.

«Без него невозможно жить» — сказал о Тютчеве Л. Н. Толстой. То же самое я могу сказать применительно к себе о Велимире Хлебникове.

Мною при выборе круга чтения в юные годы никто не руководил. Тем не менее, по счастливой ли случайности, либо еще почему-то, я прочитал именно те книги, которые рекомендовал бы любому желающему приобщиться к поэзии, научиться ее понимать (нехорошее слово применительно к поэзии, но за неимением лучшего...). Мое отношение к искусству, и поэзии в частности, сформировалось под влиянием немецких романтиков: Новалиса, Вакенродера, Арнима, Брентано и других. Безусловно, главное воздействие оказал на меня именно Новалис. Его «Гейнрих фон Офтердинген» со знаменитым сном о голубом цветке и в особенности «Ученики в Саиссе»

стали для меня настоящим откровением. В этих книгах, разумеется, не говорилось о том, как надо воспринимать поэзию. Они сами были такой концентрированной поэзией, имеющей форму романа, то есть были поэзией в отсутствие ее формальных признаков, таких как рифма и ритм. Впрочем, ритм в этих книгах присутствует в виде изысканного ритма образов, что и превращает эти романы в поэтические произведения.

Одна из функций ритма состоит в абстрагировании от внешней реальности произведения, описанных там событий и действий, подготавливая нас к восприятию главной внутренней реальности, в которой автор и раскрывает перед нами свое неповторимое мироощущение. Разумеется, требуется немалое писательское мастерство для того, чтобы эта схема заработала, да и сама тема произведения далеко не безразлична в этом случае: она тоже должна вносить свой вклад в восприятие романа. Всеми этими качествами с лихвой обладали немецкие романтики, а упомянутые романы Новалиса являются, по-моему, квинтэссенцией этого метода.

Не зря позднее сюрреалисты так часто цитировали немецких романтиков, а Новалиса считали своим непосредственным предшественником.

Именно благодаря школе, пройденной у Новалиса, я оказался способен к тому глубокому восприятию поэзии, которым обладал когда-то. То, что осталось сейчас, — это лишь воспоминания о том, что и как я был способен чувствовать в то время, когда занятия поэзией составляли значительную и лучшую часть моей жизни.



Признание



Занимаясь стихотворчеством, я никогда не испытывал желания напечатать свои стихи или добиться какого-либо другого признания. Для меня это было чисто внутренней потребностью, образом жизни. Разумеется, я часто читал свою любовную лирику друзьям во время многочисленных походов, которыми мы так увлекались в то время, или в процессе очередного веселого студенческого застолья. Тот легкий эпатаж, которым были проникнуты эти мои стихи, очень гармонировал с нашим тогдашним отношением к жизни.

Однако признание, пусть кратковременное и своеобразное, совершенно неожиданно нашло меня в один из летних дней 1972 года.

В этот день мы отправились в очередной поход в Подмоскowie, нагрузившись спиртным, едой и кинокамерой. Традиционный состав моих друзей Саши Петрова и Коли Приезжего пополнился в этот раз двоюродным Сашиным братом Андреем, баскетболистом громадного роста, учившимся в Университете дружбы народов и писавшим диплом по А. Платонову, а также нашим однокурсником тихим умницей Сашей Подколзиным, тоненьким, как бы целиком состоящим из шарниров, непостижимым образом в каждый момент времени находящихся в равновесном состоянии, человеком.

Мы сошли на одной из станций Павелецкой железной дороги, нашли симпатичную поляну и приступили к пикнику, затем играли в футбол, пели песни под гитару, спорили о литературе, вспоминали интересные истории, в общем, все шло как обычно, пока внезапно не обнаружилось, что мы просчитались с количеством спиртного, которое как-то незаметно и очень быстро кончилось.

Но тут Андрей загадочно улыбнулся и вынул из рюкзака спрятанную в загашнике бутылку водки, но при этом сказал, что этого явно не хватит на всех, только раззадорит и испортит удовольствие. Поэтому он предлагает разбиться на две команды и устроить соревнование за право выпить эту бутылку.

Поскольку Подколзин ничего не пил, его вывели из состава участников и назначили судьей, а само соревнование должно было

состоять в беге на четвереньках на скорость. Была отмерена дистанция, Подколзин взялся за кинокамеру, чтобы запечатлеть все детали предстоящего бега, и дал старт.

Смутно помню, что сразу потерял направление и застрял в каком-то кусте, ибо, как оказалось, не так-то просто бежать на четвереньках и при этом высоко задирать голову, стремясь сохранить ориентацию в пространстве. Впрочем, похожая участь постигла и остальных моих друзей. Лишь Андрей добрался до конца, да и то лишь потому, что заранее продумал стратегию гонок: он не суетился, а неторопливо переставляя свои могучие баскетбольные конечности, в несколько приемов достиг цели.

Надо ли говорить, что победители в конце концов поделились с побежденными, и когда мы добрались до станции, то были уже настолько хороши, что пропустили тут же подошедшую электричку, идущую в Москву. Впрочем, нас это совершенно не огорчило, потому что на указанной станции оказался прекрасный вместительный пивбар, куда мы с большим удовольствием и направились.

Остальную часть истории я рассказываю со слов своих друзей, потому что отключился после первой кружки пива и смутно помню происходившее. Говорят, что в некоторый момент я встал из-за стола и начал читать свою любовную лирику, периодически прерываясь на то, чтобы сделать очередной глоток пива. Переполненный зал затих, и вдруг один из завсегдатаев поднялся со своего места, подошел ко мне и, ничего не говоря, поставил передо мной неначатую кружку. Затем сорвался со своего места второй человек, третий... Один из подошедших, хватив кружкой о стол, даже сказал в порыве чувств: «Вы наш советский Есенин» (что уж никак и ни в каком смысле не соответствовало действительности).

Скоро весь стол передо мной оказался уставленным кружками, пиво стекало на пол, и я теперь все чаще прерывался не только на то, чтобы сделать очередной глоток, но и на то, чтобы сдуть со стола стекающую на меня пену.

Потом мы снова оказались на платформе, электрички долго не было, и мы решили пройти до следующей станции пешком вдоль путей. Плохо помню происходившее затем, остался в памяти лишь образ Андрея, зачем-то пытавшегося сбивать с электрических столбов чашечки изоляторов своим туристским топориком, и удивленные и немного встревоженные лица поздних пассажиров

вагона, в который в конце концов благополучно ввалилась наша компания.

Эта история о неожиданном признании и о нашем пикнике очень дорога мне.

Кстати, как ни странно, снятые на пленку соревнования в беге на четвереньках при просмотре оказались скучными и неинтересными. Зато самым замечательным кадром стал тот, в котором в самом начале пикника Саша Подколзин, удивительным образом сохраняя равновесие во всех своих сочленениях, разбивает чайной ложечкой яичную скорлупу.



Селигер



Первым и самым близким моим другом на мехмате был Саша Петров. Нашу группу формировали по принципу лучшего знания английского языка, а Саша пришел в университет из английской спецшколы. Он превосходно знал язык, читал в подлиннике Шекспира и часто помогал нам с заданиями по английскому.

Немногословный, надежный, готовый поддержать любую интересную эскападу, был превосходным товарищем, прекрасно играл в футбол и, главное, умел слушать собеседника как никто другой.

Какую прекрасную непобедимую пару по минифутболу мы с ним составляли! При этом я обычно завершал атаки, а Саша поставлял патроны, выполняя колоссальный объем работы и конструируя игру.

Но по-настоящему мы сблизились с ним после второго курса, когда вместе с двумя другими нашими приятелями, Колей Приезжим и Мишей Флитом решили съездить по турпутевке на Селигер.

Стоит подробнее описать нашу четверку, приехавшую поздно ночью в славный город Осташков и в ожидании утра пристроившуюся на скамейках вокзала, коротая время за преферансом. Все мы тогда находились под воздействием «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова, и каждый из нас получил имя одного из персонажей этого замечательного романа: рассудительный и неторопливый Коля стал, конечно, Римским, а к Саше почему-то приклеилось имя Геллы, которое непостижимым образом ему соответствовало. Может быть, дело было в некоторой внешней отстраненности и кажущейся холодности Саши: я никогда не видел его вышедшим по-настоящему из себя.

Маленький ростом, широкий в плечах, физически очень сильный Миша, с короткой черноволосой прической и в обтягивающем трико, в которое он был одет в походе, конечно, стал именоваться Азazelло, а мне, склонному к веселым розыгрышам, досталось имя Бегемота.

Наутро мы пришли на турбазу, взяли в аренду лодку, утварь и отбыли по направлению селигерского острова Хачин. Гребли Миша и Саша, а я был кормчим и прокладывал курс. Уж не помню, что меня тогда подвело: то ли плохая, заведомо враная карта (такие, действительно, выпускались в то время с целью ввести в заблуждение возможного врага-шпиона), то ли мои способности кормчего, но мы заблудились и пристали к Хачину только поздней ночью. Быстро поставив палатку и отметив свой приезд громким пением под гитару песен Высоцкого, мы, наконец, к двум часам утомонились и легли спать.

Наутро мы обнаружили, что чудесный остров совершенно безлюден, хотя следы недавнего обитания и поспешного убытия его аборигенов были отчетливо видны на песчаном берегу. По-видимому, наш шумный приезд произвел слишком сильное впечатление на окружающих, и нас решили оставить одних наедине с природой.

Остров Хачин замечателен тем, что там совсем немного комаров из-за могучих сосен, покрывающих остров. Мы провели замечательную неделю на нем: рыбачили, гуляли, играли в футбол, купались. Саша и Миша прекрасно умели обходиться с костром, а у Саши еще открылся и редкий талант идеально ровно в абсолютной темноте разливать по булькам бесценный «Рижский бальзам» с водкой, которыми мы предусмотрительно запаслись заранее.

Затем, отдохнув и подзагорев, мы решили переехать на Березовый плес, который славился своим замечательным клевом, но лучше бы мы этого не делали! Я — человек, любящий природу и привыкший к определенным неудобствам, связанным с общением с ней, например, к вездесущим комарам, слышал, что Березовый плес — комариное место, но никогда не думал, что настолько. Обычные комары ведут себя в дневное время пристойно и уж во всяком случае избегают солнца, но эти изголодавшиеся кровопийцы жалили нас в самые чувствительные места независимо от времени суток. Доходило до того, что простая и естественная процедура, к которой прибегает каждый человек, превращалась здесь в настоящее мучение, и не было от комаров никакого спасения.

Для того чтобы как-то бороться с ними по ночам, каждый из нас разработал собственную систему: Коля привез с собой толстую шапку-буденовку с прорезями-бойницами для глаз и носа (который по утрам, весь искусанный, принимал красивый сливовый отте-

нок), Саша и Миша пользовались репеллентами (безрезультатно), а я применял так называемую систему закукливания. Она состояла в том, что я тщательно подтыкал со всех сторон под себя одеяло, а затем специальным образом заматывал лицо толстым махровым полотенцем; главное при этом состояло в том, чтобы не задохнуться ночью от такого обилия ткани, но в остальном система себя оправдала.

И вот как-то поздно утром, когда проклятые комары, наконец, отстали от меня, я спал один в палатке (дежурили в этот день мои друзья), наслаждаясь простором и свежим утренним воздухом, как вдруг услышал громкий Сашин голос: «Пусть Бегемот отвечает, он обаятельный». Я продрал глаза, приоткрыл палатку и обомлел. Напротив меня стояла молодая грациозная девушка какой-то трогательной красоты с блокнотом в руках и благожелательно рассматривала меня. Она оказалась студенткой-социологом и собирала материал о том, кто и как на отдыхе проводит свое свободное время, — то ли для дипломной работы, то ли еще для чего-то, сейчас не помню.

Я быстро привел себя в порядок, и затем последовали вопросы уморительный анкеты вместе с веселой дискуссией о том, можно ли считать преферанс настольной игрой на свежем воздухе, а разливание бальзама по булькам упражнением на ловкость и точность. Мои друзья присоединились вскоре к нашей беседе, а затем мы оставили гостью позавтракать с нами и расстались с нашей замечательной собеседницей только к обеду.

В этот вечер нам было грустно, Миша все чаще вспоминал о своей оставленной в Москве невесте, а нам вдруг ужасно захотелось домой, поближе к урбанистическому пейзажу, обустроенной городской жизни и социологии.

На другой день мы вернулись в Москву, а еще через некоторое весьма непродолжительное время Саша (не Миша, сделавший это заметно позже) неожиданно женился, что круто поменяло всю нашу жизнь.

Но это уже другая история.



Петровы



Сашиной женой стала Ася Шапиро, дочка известного физика, члена-корреспондента АН Федора Львовича Шапиро. Жила она с мамой в большой просторной квартире на улице Губкина, которая стала для меня на долгое время вторым домом. Сюда можно было прийти в любое время дня и ночи, в любом состоянии, и тебе всегда искренне были рады. Ася была не просто гостеприимна, она любила своих друзей и всегда вместе с ними переживала все непростые перипетии их частной жизни, была в курсе всех личных дел и часто принимала самое активное участие в их устройстве. Мне кажется, оставь ее без друзей на какое-то время — и она бы просто завяла, лишившись той возможности сопереживания, способностью к которой до такой степени обладала.

Если еще добавить, что она была хороша собой, прекрасно пела и играла на гитаре и изумительно готовила, особенно сладкое, то вы поймете, почему просторная Асины квартира всегда была полна друзей и приятелей. Здесь можно было встретить начинающих певцов и поэтов, литераторов и художников, ученых и студентов.

Разумеется, Сашины друзья стали и ее друзьями. Сколько интересных вечеров и праздников провели мы вместе! Особенно запомнилась мне встреча Нового года, которую мы с Асей решили подготовить заранее, написав сценарий и распределив роли, причем мне досталась, естественно, роль Деда Мороза, а ей — Снегурочки. И праздник удался на славу: мы подготовили конкурс лепки, согласно которому участники должны были вылепить человека в подтяжках, традиционные шарады, установили приз за лучший тост о хозяйке дома, придумали смешную мгновенную лотерею с коварными вопросами, которая проходила следующим образом. Ведущий засовывал руку в мешок и как-нибудь характеризовал лежащий там предмет, например, говорил: «Резиновое предохранительное изделие», а участники уже должны были сами догадаться, что имелись в виду калоши, которые и получал победитель. Правильно ответивший на вопрос «Неодносвязная область

в трехмерном евклидовом пространстве» получал рулон дефицитной туалетной бумаги и т. д.

Особенно мне запомнилась в тот вечер игра в шарады. Наша команда задумала строку из Пастернака

«Расправляй губами вывих муравья».

Муравья должен был изображать Сашин двоюродный брат баскетболист Андрей, о котором я уже рассказывал в этой книге. Когда он встал для этого на четвереньки, то посыпались отгадки: слон, лев, даже почему-то верблюд, но никому, разумеется, и в голову не пришло слово «муравей», и мы выиграли раунд. Однако затем растеряли преимущество благодаря исключительному добродушию члена нашей команды Фимы Шифрина, который в свою очередь должен был воплощать загаданные противником строки. Это были знаменитые

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»

Трудность состояла в том, что Ефиму никак не удавалось, несмотря на все старания, изобразить совершенно несвойственное ему чувство гнева: он строил уморительные гримасы, раздвигал губы, грозно покачивал головой, но все это лишь вызывало радостный смех окружающих. Игра в итоге так и закончилась вничью.

А приз за лучший тост о хозяйке дома получил сам Саша. Еще в самом начале, предвечеря вечер, я сказал о том, что каждый из нас знает Асю с какой-либо одной стороны, и будет очень интересно и поучительно, если именно об этой ее стороне и расскажет. Тогда Саша встал и предложил выпить «За умелый язык своей жены», а поскольку Ася была действительно остра на язычок, все признали этот тост лучшим.

Пожалуй, никогда — ни раньше, ни позже — мы так весело не встречали Новый год.

Следующая история также случилась в один из праздников Нового года, который прошел для меня совершенно феерически. Начали мы встречать его с моим другом Колей Осмоловским в ДК МГУ, но потом, выпив в 12 часов с какими-то милыми девушками бутылку припасенного заранее шампанского, отправились в подвал академического дома на Дмитрия Ульянова, где продолжили встречу с приятелями с физфака и мехмата. Здесь я часа в 3 ночи оставил

Колю под полную ответственность какой-то вполне эмансипированной девицы, а сам отправился к Саше с Асей на Губкина, куда чувствовал настоящую потребность явиться, потому что вдруг осознал, что в новом году говорить надо каждый день лишь словами, начинающимися на одну какую-то букву, и спешил поделиться этим открытием с друзьями, а также применить его на практике.

Так случилось, что в эту праздничную ночь в гостях у Асиной мамы Софьи Матвеевны была чета докторов-физиков из Горького. Они сидели за столом и мирно беседовали, когда я позвонил в дверь. Ася вместе с гостями вышла открывать, а я, войдя в квартиру, посмотрел на них отсутствующим взглядом и проникновенным голосом сказал: «Пошталася, побродил, пришел поздравить», — а затем задумался и зачем-то добавил: «Первомай придет позже».

Давно я не видел такой радости в глазах моих друзей, сразу оценивших новый замечательный розыгрыш, который мне удалось придумать. Гости же реагировали по-другому: они с некоторым недоверием посматривали на меня и, когда я продолжил в том же духе, как-то очень быстро засобирались домой. Нет, при всей интеллигентности им явно не хватало подготовки к такого рода веселым стрессам.

Много можно вспомнить аналогичных историй, происходивших с нами, но как передать тот неповторимый с легкой сумасшествинкой аромат нашей тогдашней жизни, когда казалось, что мы никогда не состаримся, а наша потребность в каждодневном общении с друзьями была неотъемлемой частью этой жизни.

Сейчас Ася живет в США под Чикаго со своим мужем-американцем, за которого она вышла замуж, разведясь с Сашей много лет назад, квартира на Губкина продана, но каждый раз, проходя мимо этого дома, я поглядываю в ее окна, вспоминая замечательное студенческое время и те счастливые дни, которые мы проводили вместе.



Друзья I



На первом курсе мехмата нашему потоку достались замечательные лекторы: М. М. Постников, И. А. Вайнштейн и читавший алгебру А. Г. Курош. Именно на его лекции я впервые познакомился с одним из лучших моих друзей Фимой Шифриным.

Это была лекция по теории групп, и я до сих пор помню, как резвились мои сокурсники, посылая лектору записки с вопросами типа: «Что такое бабелева группа?» Обладающий своеобразным чувством юмора Курош первый вопрос проигнорировал, а на второй вопрос ответил так: «Повторяю определение абелевой группы...»

Один из моих соседей попросил меня передать записку приятелю, я взял записку, но она вывалилась у меня из рук, раскрылась, и я невольно прочел заключенную в ней сентенцию: «Бей жидов!». Недоуменно пожав плечами, я, тем не менее, передал ее по назначению и вскоре увидел, как получивший записку студент явно еврейской национальности радостно, с улыбкой на лице машет рукой отправителю. Подивившись такому способу общения, я бы, наверное, забыл об этом эпизоде, если бы впоследствии получатель записки не стал одним из близких моих друзей.

Фима Шифрин вырос в еврейской патриархальной семье. Доброжелательный, рациональный, он был типичным пай-мальчиком: не пил, не курил, всегда и во всем соблюдал умеренность и выдержку. И вдруг в некий момент все в его жизни изменилось, и произошло это в точности в год нашего знакомства.

Наш общий приятель (и Фимин одноклассник) Олег Меркадер решил жениться, и большую свадьбу с друзьями, танцами и другими развлечениями решено было устроить в ресторане «Прага». Для тех, кому фамилия Меркадер ничего не говорит, напомним, что именно так звали испанского коммуниста, убийцу Троцкого. Знаменитый Раймон Меркадер был дядей Олега, во время гражданской войны в Испании семья Меркадеров переехала в Москву, и Олег с сестрой Кариной учился в известной 7-й математической школе вместе

с многими моими будущими друзьями. Он отличался всегда веселым, немного восторженным характером, любил джазовую музыку и часто вытаскивал нас на ее вечера в знаменитом клубе «Замоскворечье».

На свадьбе Олега произошло два интересных нетривиальных события: на свадьбу племянника заехал на несколько минут Рамон Меркадер, который как раз тогда отсидел свой срок в Мексике и приехал в Москву получить давно присужденную ему звезду Героя Советского Союза, поздравил племянника и уехал доживать свой бурный век на Кубу.

Второе же событие состояло в том, что мой друг Фима впервые в жизни перебрал спиртного. Дальше все было как в короткометражной картине. Двое других моих знакомых взялись доставить Фиму домой, благо он жил неподалеку на Большой Бронной, но Фима проявил неожиданное упрямство и долго не поддавался на их уговоры. Наконец наша троица кое-как добралась до подъезда Фиминого дома, и тут он неожиданно заснул. Надо сказать, что при росте 170 см Фима весит 90 килограммов, занимался когда-то борьбой, и знающие его люди подтвердят, что ни в каком состоянии его невозможно заставить делать то, чего он не хочет. А подниматься на пятый этаж дома без лифта Фиме явно не хотелось. Оставив уговоры, мои приятели максимально облегчили себе задачу, сняв с Фимы пальто и новую норковую шапку (и оставив все это при входе в подъезд; надо ли говорить, что шапка потом пропала), с адским трудом дотащили его до дверей квартиры, решив, что на этом их миссия закончена.

Но не тут-то было! Дверь квартиры открыла Фиминая мама Мария Семеновна, которая сразу поняла, что ее сыну плохо, но не поняла отчего: ей и в голову не могла прийти банальная версия с алкогольным отравлением. Поняв, что к чему, и не желая подставлять Фиму, один из сопровождающих проводил его в комнату, став на посту и не пуская туда рвущихся родственников. Однако уже была вызвана бригада скорой помощи, и приехавший важного вида врач уединился с Фимой.

Когда через 5 минут, протирая очки, он вышел, Мария Семеновна с замиранием сердца спросила, что с ее сыном и опасно ли это. «Пьянство всегда опасно», — с важным видом ответил врач и величественно удалился.

Честно говоря, с тех пор я видел Фиму в схожем состоянии всего несколько раз за долгие 30 лет знакомства (думаю, он меня лице-зрел в подобном состоянии уж никак не реже), но по контрасту с его прежним поведением каждый такой случай надолго оставался у нас в памяти.

Так, однажды, находясь у Фимы в гостях, мы с моими друзьями отмечали его день рождения и к концу незаметно перебрали лишнего. Особенно это было видно по самому Фиме: он вдруг впал в какое-то меланхолическое настроение и попросил слова. «А сейчас, — сказал он, — я сыграю вам свою любимую песню». Фима сел к фортепьяно, взял нотную тетрадь и стал ее подчеркнуто внимательно перелистывать. Просмотрев ее всю, он вдруг уронил горячий лоб на прохладные клавиши пианино, заплакал и сказал сквозь слезы: «Нету моей любимой песни, украли мою любимую песню». Никто из нас так и не смог его утешить, и праздник сам собой сошел на нет.

Среди многочисленных Фиминых талантов одним из самых ярких был спортивный. Фима прекрасно играл в футбол (был лучшим вратарем нашей студенческой команды), в настольный теннис. Но настоящей его страстью были шахматы. Мне кажется, если бы он захотел, то добился бы в этом виде спорта самых больших успехов. Для этого у него было все: талант, выдержка, знание теории. Помню, какой мукой было играть с ним! Ты с самого начала почему-то попадал под мощный пресс, и никакие попытки изловчиться, провести собственную комбинацию не проходили: на это просто не было времени. Лишь однажды в жизни мне удалось сыграть с ним вничью, на которую он опрометчиво согласился. Опрометчиво, потому что, попрощавшись со мной и выйдя из дома, он тут же позвонил мне по телефону-автомату, сообщив со смехом, что второпях просчитался и что партия, конечно, была им практически выиграна (что, разумеется, соответствовало действительности). В те годы центральный шахматный клуб общества «Спартак» находился неподалеку от Большой Бронной, и Фима с некоторого момента начал участвовать в регулярных турнирах этого общества, поднимаясь все выше и выше по классификационной лестнице. Наконец он стал кандидатом в мастера и находился уже совсем рядом с мастерским разрядом, а это, как известно, уже такой уровень, который граничит с профессиональными занятиями спортом. Не знаю, подумывал ли

мой друг об уходе в профессионалы, но тут решающую роль в его возможном выборе сыграл я.

Фима исключительно удачно выступал в одном из очень сильных турниров, и ему оставалось лишь два-три шага до победы в нем, когда мне пришла в голову мысль зайти в клуб и поболеть за своего друга. Надо сказать, что турниры в этом клубе проходили очень демократично: не было никакой сцены, а зрители спокойно разгуливали среди столиков даже тогда когда играли такие асы, как Юсупов и Долматов.

Я вошел в клуб и подошел к Фиминому столику в самый решающий момент, когда ему предстояло принять ответственное решение о том, как лучше реализовать то позиционное преимущество, которого он достиг, как всегда методично прессингуя с самого дебюта.

Но Фима прежде всего был хорошим другом и, увидев меня, радостно заулыбался, отложил расчеты и, покинув столик, пошел со мной поболтать. Он рассказал мне массу забавных историй об участниках и пожаловался на то, что его соперник принимает допинг (тот периодически отлучался в раздевалку, прикладываясь там к бутылке спиртного). Я тут же предложил уравнивать шансы, достав из портфеля маленькую бутылку коньяку, которая завалилась там с какой-то вечеринки.

К чести Фимы, он безукоризненно соблюдал спортивный кодекс и поэтому отказался. Но мы слишком заговорились, и когда он, опомнившись, вернулся к шахматной доске, времени для принятия правильного решения у него уже не оставалось, он попал в цейтнот, а затем и сдал партию. В итоге турнир закончился для него совсем не так, как ожидалось, и вопрос о профессиональных занятиях шахматами отпал сам собой.

Я до сих пор горжусь этой историей, считая, что спас для математики почти потерянного для нее человека.

* * *

Есть люди, поведение которых не укладывается в существующие стереотипы, они скорее напоминают явления природы с их непредсказуемостью и неуправляемостью.

К числу таких людей принадлежит мой друг Гриша Амирджанов. Говорят, в детстве в него попала молния и, по-видимому, так нетри-

вильно перестроила его подсознание, что это неизбежно отразилось и на его отношении к жизни, и на поведенческих стереотипах.

Я иногда называл его сюрреалистом жизни, настолько порой абсурдистскими и на первый взгляд нелогичными были его поступки, при этом все они были отмечены своеобразным очарованием и имели свою внутреннюю логику, в точности как произведения сюрреалистов.

Так, например, Гриша воплощал собой крайнюю степень известного принципа неопределенности Гейзенберга (состоящего в невозможности одновременно точно измерить положение и скорость частицы) применительно к пространству и времени.

Известно было, что Григорий всегда приходит на назначенное место встречи, но при этом никогда не приходит туда в назначенное время. Я неоднократно убеждался в правильности этого тезиса, пока однажды не пришел к скамейке 14 этажа мехмата, где накануне назначил Грише встречу, и не обнаружил его сидящим на положенном месте в положенное время. Однако вскоре выяснилось, что Гриша просто пришел туда задолго до этого по другому делу и не успел уйти. Я вздохнул с облегчением — ничего необычного или противоречащего принципу неопределенности в этом не было.

Известно, что луч света преодолевает расстояние от Солнца до Земли за восемь с половиной минут. Мысль в сложном подсознании Григория примерно столько же времени движется до центров двигательной активности. Я имел возможность убедиться в этом в казарме Военно-воздушной академии в городе Калинин, где мы с Григорием проходили сборы. Во время какой-то увлекательной беседы я отметил, что из открытой форточкой очень дует, но Гриша, сидящий как раз рядом с форточкой, почему-то никак не отреагировал на эти слова. Дискуссия продолжилась, как вдруг ровно через восемь с половиной минут Григорий порывисто встал, подбежал к окну и крепко его захлопнул. Тогда-то я и заподозрил, что $8\frac{1}{2}$ — мировая константа для моего друга.

На тех же сборах произошел интересный эпизод, о котором я всегда с удовольствием вспоминаю. Наша рота бравым шагом шла из казармы в столовую, когда нам повстречался командир полка. «Здравствуйте, товарищи!» — зычно выкрикнул командир, предвкушая в ответ обычную разноголосицу необученных студентов. Однако к большому его удивлению мы все как один ясно и четко

ответили: «Здоровья желаю, товарищ командир полка!». — «Хорошо отвечаете», — отметил командир, и тут часть моих товарищей правильно ответила: «Служу Советскому Союзу!», часть закричала «Ура!», а интеллигентный Гриша сказал: «Спасибо». Полковник расхохотался, махнул рукой и уехал.

Как-то, когда я находился в гостях у Фимы, в дверь позвонили. Это был Гриша, который с озабоченным выражением лица, не поздоровавшись, вошел в комнату и быстро подошел к зеркалу. Оказавшись около зеркала, он вдруг начал строить сам себе какие-то невообразимые гримасы и занимался этим не менее пятнадцати минут, не отвечая на наши вопросы. Затем он, наконец, устал, оторвался от своего изображения и пояснил, что, оказывается, кто-то из ответственных мехматских людей сказал ему, что у него очень хитрое выражение лица, и он теперь пытается устранить этот существенный в общественной жизни недостаток. Но натуру не изменишь, стоило Григорию расслабиться, как присущее ему лукавое с хитрецей выражение, словно печать, проступало на его загорелой физиономии.

Был у Григория необыкновенный талант делать предсказания. При этом он всегда делал их с точностью до наоборот, но, внося необходимую корректировку, можно было на их основании получить правильный результат. Так, когда моя сестра тяжело заболела пневмонией, настолько тяжело, что снимок легкого был черного цвета от тотального воспаления, я сказал об этом Грише. «Ты знаешь, — заметил он мне, — я не хочу тебя расстраивать понапрасну, но подобные снимки бывают обычно при раке легкого, так что это очень-очень серьезно». Зная Гришин талант предсказывать все наоборот, я испытал настоящее облегчение и поверил в то, что с сестрой все будет хорошо. Так оно впоследствии и оказалось.

Сейчас и Фима, и Гриша — солидные люди, многого добившиеся в жизни. Фима — блестящий математик и механик, доктор наук, профессор, Гриша — директор крупного института в системе образования. Да и иначе и быть не могло: их неординарность и математическое дарование явно просматривались с самого начала. Так, на другое утро после знаменитой свадьбы Олега Меркадера Фима получил свой первый нетривиальный результат в уравнениях с частными производными, который очень понравился Марку Иосифовичу Вишику. А Гриша в мехматское время наряду с сильными результа-

тами по общей топологии в полной мере проявил свои недюжинные организаторские способности, работая в комитете комсомола факультета.

Но для меня они остались теми же самыми Фимой и Гришей, с которыми я познакомился и подружился в студенческое время, и мы до сих пор, собираясь вместе (что бывает, к сожалению, не так часто, как хочется), с удовольствием вспоминаем эти и другие смешные эпизоды нашей прекрасной студенческой юности.

* * *

Нашим с Фимой и Гришей ближайшим другом был, безусловно, Боря Шапировский. Один из самых талантливых и неординарных людей, которых я когда-либо встречал, он вырос в семье известного литератора, члена Литфонда, прекрасно разбирался в истории и был счастливым читателем превосходной отцовской библиотеки. Как и мои друзья, он окончил 7-ю математическую школу, по поводу поступления в которую рассказал мне как-то следующую историю.

В этой школе (наряду со знаменитой 2-й и 444-й школами) были собраны самые сильные в математическом отношении московские школьники, и Борис, по его словам, никак не рассчитывал быть там среди лучших. Однако не без основания полагал, что ему не будет равных в знании литературы и истории. И вот как-то в один из первых дней пребывания в школе, стоя в очереди в буфет, он начал читать строки Д. Бурлюка:

«Каждый молод, молод, молод...», —

как вдруг неожиданно стоящий рядом школьник подхватил:

«В голове чертовский голод...»,

следующий продолжил стихотворение и т.д. «Я убедился, что все понимал тогда неправильно, — говорил мне потом Боря, — нашлось немало ребят, которые знали литературу заведомо не хуже меня», а вот с математикой все вышло наоборот, и он стал одним из сильнейших в школе, а затем уже и на нашем курсе.

Предмет Бориных занятий, общая топология, не требовал слишком долгой подготовки к самостоятельной работе как, например, алгебраическая геометрия, где нужно потратить годы только на то, чтобы сориентироваться, войти в этот раздел науки. Максимум

виртуозности и эффективности на минимуме материала — это был фирменный Борин стиль, и он уже в молодые студенческие годы получил несколько очень сильных общетопологических результатов, имея к четвертому курсу публикации в престижных «Докладах Академии наук».

Выглядел Борис весьма импозантно. Представьте себе худого невысокого, но чрезвычайно стройного (спину Боря держал как профессиональный танцор) с немного запрокинутой назад головой человека, с легкой иронией, граничащей с чувством превосходства, оглядывающего окружающих, — и получите почти точный Борин портрет. В «Театральном романе» Булгакова есть замечательный эпизод, в котором артист Елагин пародирует письмо Немировича-Данченко, блестяще изображая самого режиссера. Когда я перечитываю это место, мне почему-то Аристарх Платонович (так зовут великого режиссера в романе) очень напоминает Боря.

Мы познакомились с Борисом на первом курсе и сразу подружились. Игры в футбол, студенческие посиделки, на которых остроумный и ироничный Боря был неподражаем, кино, бесконечные беседы о политике, которые он очень любил, не оставляли времени для скуки и унылого времяпрепровождения.

Борис, конечно, писал стихи, и по крайней мере два его стихотворения о мехматской жизни были очень известны и любимы на факультете. Первое из них говорит о хорошем чувстве слова, которым обладал Боря.

Храню консервы в торе я
И ночью я и днем.
Моя консерватория —
Написано на нем.

Но еще больше я люблю второе стихотворение, которое называется «Мехматянин».

Пусть я на левый глаз кошу
И на носу очки ношу.
Пускай я дергаюсь от тика,
Пусть я немножечко заика.
Зато я знаю — это факт! —
Что означает монолитный
Локально-сигма-трансфинитный
Универсальный бикомпакт!

И Боря действительно это знал (а может быть, и сам ввел в употребление).

Борис «встретил свою судьбу» как раз у того самого телефона-автомата в библиотеке Иностранной литературы, о котором уже рассказано в этой книжке. Его будущая жена Нина Франк училась на истфаке, и с ее появлением наша холостая студенческая жизнь стала еще интереснее и многообразнее. Во-первых, она оказалась совершенно замечательным человеком, сочетавшим в себе необыкновенную немецкую четкость и обязательность с типично русским гостеприимством, во-вторых, у нее были многочисленные и очень симпатичные подруги, о которых она заботилась точно так же, как и о Боре и его холостых друзьях.

Боря с Ниной снимали маленький закуток в Малом Козихинском переулке в большой густонаселенной коммунальной квартире. Контигент там был тот еще, но умеющий ладить с людьми Борис прекрасно вписался и в этот коллектив. Он даже выполнил заказ обитателей квартиры, которые просили его сделать возле туалета какую-либо надпись, призывающую жильцов гасить свет после посещения указанного заведения. Борис, как всегда, оказался на высоте, и я с удовольствием приведу написанное им двестише:

Хозяин страны,
ты за все в ответе!
Свет потуши
в трудовом клозете!

Сколько интересных событий происходило на Козихе, как весело и остроумно проходили наши встречи и как вкусно подкармливала нас, вечно голодных молодых людей, гостеприимная Нина!

Борис благополучно поступил в аспирантуру и довольно быстро написал очень сильную диссертацию, которую, естественно, надо было защищать. Защита должна была состояться на одном из ученых советов мехмата, и вот началось что-то невообразимое. На первом совете не оказалось кворума, на втором совете диссертация проходила блестяще, но тайное голосование (лишь при положительных хвалебных выступлениях и отзывах!) дало отрицательный результат. Само собой разумеется, что открытым голосованием ученый совет отказался утвердить результаты такого голосования. Наконец, на третьем совете кворума вновь не оказалось.

Не знаю, как все это выдержал Боря, а в особенности Нина, которая уже была на пределе, и понял я это в связи со следующим обстоятельством.

Защиты проходили раз в две недели, и каждый раз Боря заранее заказывал традиционный банкет в ресторане, а это такая вещь, которую за час до начала не отменишь, так что мы все вместе регулярно отправлялись туда после этих неудачных заседаний. Помню после третьего совета, во время банкета я встал и сказал следующий тост: «Стало хорошей традицией собираться здесь каждые две недели...», — и в этом месте совершенно измученная Нина неожиданно заплакала, а я понял, что несколько переборщил с юмористическим восприятием этой ситуации.

Впрочем, четвертая защита прошла успешно, и диссертационный марафон, наконец, благополучно завершился.

После окончания МГУ мы стали общаться реже, и вот совершенно неожиданно я узнал, что Борис тяжело заболел, а затем пришло известие о его смерти. Нина осталась без мужа с тремя детьми, но она выстояла под ударами судьбы, нашла хорошую надомную работу и вырастила прекрасных мальчиков, в каждом из которых я узнаю типичные Борины черты.

Каждый год 23 февраля в его день рождения мы собираемся у Нины и вспоминаем Борю, нашу студенческую жизнь и так же, как когда-то, спорим, веселимся, и кажется, что Боря находится где-то рядом, с легкой иронией поглядывая на окружающих и вставляя время от времени в наш спор свои точные короткие реплики.



Друзья II



Одним из самых способных математиков на нашем курсе был Леша Семенов. Но в отличие от других талантливых студентов он обладал еще одним уникальным качеством, которое я бы назвал пониманием устройства жизни, и несомненным административным талантом. Последний очень редко встречается вообще, а в сочетании с первыми двумя — это настоящая редкость.

Я познакомился с ним на втором курсе, и он поразил меня тогда тем, как прекрасно понимал пружины непростой общественной мехматской жизни. Причем не просто понимал, а активно в ней участвовал, ясно сознавая необходимость этого как для себя, так и для своих друзей. В комитете комсомола факультета и в студкоме 1971 года кроме Леша были Амирджанов, Варданян, Минахин и многие другие незаурядные личности. Результатами их деятельности было оставление в аспирантуре мехмата будущего филдсовского лауреата Володи Дринфельда, замечательного общего тополога моего друга Бори Шапиrowsкого, талантливого Миши Стесина и других студентов, которым по тем временам было не так просто поступить в аспирантуру.

Я многому научился у Леша, особенно мне запомнился урок, связанный с полусекретной анкетой, которую заполнял каждый допущенный к военной подготовке. Был там застрявший со времен 50-х годов вопрос: находился ли кто-нибудь из ваших родственников во время войны на временно оккупированных территориях. Я ответил на этот вопрос отрицательно, но когда на каникулах приехал к родителям в Баку, где тогда командовал армией мой отец, то узнал, что моя мать в возрасте 14 лет в течение двух недель формально находилась на такой территории (хотя и в глаза не видела ни одного немца). Воспитанный в суровых военных традициях, я решил обязательно отразить это в анкете и после каникул зашел к кадровику и сделал соответствующую запись к его искреннему изумлению.

Когда Леша узнал об этом от меня, то он совершенно поразился. «Никак от тебя этого не ожидал, — сказал он. — Ведь этот поступок

совершенно бессмыслен. Во-первых, ты этого действительно мог не знать (и не знал на самом деле), во-вторых, даже если бы и знал, то писать этого не следовало: вещь эта практически непроверяемая, а при этом можно теоретически представить себе такую ситуацию, при которой подобная запись может быть использована против тебя. И вообще, при общении с официальными инстанциями надо формально выполнять лишь необходимый самый минимальный уровень требований».

Как часто я потом следовал этому замечательному совету! Так, например, когда мне понадобился официально заверенный перевод моего свидетельства о рождении для поездки во Францию, я, в отличие от некоторых друзей, потративших массу времени и денег на соответствующую официальную процедуру, пошел другим путем. Перевел свидетельство с любезной помощью А. Б. Сосинского на французский, а затем приписал: «Перевод удостоверяю. Ученый секретарь института» и поставил на документ институтскую печать. Вся процедура заняла 1 час и прекрасно сработала во Франции.

Второй такой жизненный урок Леша преподавал мне на пятом курсе перед поступлением в аспирантуру. А предшествовало ему следующее чрезвычайное для меня происшествие.

Как-то в последнюю зимнюю сессию я в один день сдал сразу три досрочных экзамена, получил стипендию и отправился в столовую пообедать. Взяв комплексный обед и присев за столик, я обнаружил, что он качается. Меня это почему-то страшно раздражало, я вынул из кармана студенческий билет и подсунул его под ножку столика, но это не помогло. Тогда я добавил зачетку, а когда и это не принесло желаемого результата, еще и стипендию. Столик зафиксировался, и я, спокойно пообедав, покинул столовую. Вспомнил я об оставленных вещах через три-четыре минуты, но когда вернулся, их уже и след простыл.

Потерять студенческий и особенно зачетку на пятом курсе — дело нешуточное. Причем выговор с занесением в личное дело, очень неприятный перед поступлением в аспирантуру, — это еще не самое страшное. Надо обойти всех своих экзаменаторов за все 9 сессий и перенести оценки в новую зачетку.

Когда я выполнил эту непростую задачу, меня ждал сюрприз: мои студенческий и зачетка нашлись, они были подброшены в деканат через три недели после пропажи. Так я стал счастливым

обладателем оригинала своей зачетной книжки, которая до сих пор хранится у меня в архиве.

Однако приближалось время рекомендации в аспирантуру, и с выговором что-то надо было делать. Как-то я зашел к нашему инспектору Эмме Михайловне и спросил, как снимается выговор. Она ничего не успела мне ответить по поводу этой непростой процедуры, потому что стоящий рядом Леша взял у нее из рук мое личное дело, открыл его, нашел копию соответствующего приказа и просто выдрал лист с выговором, выбросив его в корзину. «Выговор снят», — сказал Леша, и даже Эмма Михайловна не нашлась, что ему на это возразить.

В этой истории меня поразила Лешина способность определять меру допустимого воздействия: он прекрасно чувствовал те рамки, в которых такое простейшее воздействие возможно без ущерба для дела, а это уже настоящий административный дар, нечасто встречающийся в жизни.

В третий раз Лешин совет помог мне принять правильное решение при распределении на работу. Наряду с МФТИ меня настойчиво звали в Высшую школу пожарников, где работало много сильных математиков, но где вы должны были надеть погоны, т. е. фактически вступить в армию. Я колебался с принятием решения (в Школе платили очень приличные по тем временам деньги, несоизмеримые со скромной зарплатой ассистента без степени в обычном вузе), но Леша, узнав о моих колебаниях, сказал мне: «Андрей, мне кажется, лучше, если через 10 лет ты станешь профессором на Физтехе, чем генералом в Школе пожарников». Такая высокая оценка моих перспектив (как в том, так и в другом учреждении) вдохновила меня, и я принял решение, к которому склонялся и сам: распределился в МФТИ.

Бывали, правда, и у Леши проколы, как и у всех остальных людей. Помню, когда мы с ним сдавали собеседование в парткоме мехмата перед поездкой за границу (я ехал по студенческому обмену в Польшу, а он в Прагу), то на вопрос о том, какие силы в США поддерживают Никсона, Леша чисто рефлекторно ответил: «Молчаливое большинство», к большому неудовольствию спрашивающего. Поскольку он при этом еще и несколько раз употребил вместо термина ГДР сочетание «Восточная Германия» (что очень напоминало тогда жаргон «Голоса Америки»), то успешный результат собеседо-

вания оказался под вопросом. Правда, в конце концов все обошлось и у него, и у меня (мне тогда повезло, я сумел ответить на вопрос о теме передовицы «Правды» в тот день; я совершенно случайно подсмотрел ее утром в метро у соседа, но спрашивающего так поразил сам факт, что студент читает первую полосу нашей партийной газеты, что на этом собеседование и завершилось).

Леша был большим ценителем литературы, и именно от него я получил перепечатку «Котлована» А. Платонова, «Берлинские тетради» Цветаевой и многое другое.

Помню наши споры по поводу Белого и Сологуба, Пастернака, посещение «Иллюзиона» и наши совместные попытки пригласить в гости на мехмат замечательного поэта Давида Самойлова (к сожалению, так ни к чему и не приведшие). Единственное, что нам тогда удалось организовать (в рамках сектора комитета комсомола мехмата по военно-патриотической работе, который возглавлял Леша и в котором я работал), — это пригласить на факультет актеров театра на Таганке А. Васильева и Б. Хмельницкого.

Сейчас Алексей Львович Семенов — математический логик с мировым именем, профессор, лауреат Госпремии и директор нескольких крупных институтов, один из тех, кто играет ключевую роль в развитии нашей системы школьного образования, один из тех, чье присутствие в этой системе сохраняет для меня надежду на то, что наша школьная математика все же выживет, несмотря на все модернизации и реформы.

* * *

Одной из самых колоритных фигур на нашем курсе был, безусловно, Валера Варданян. Четкий, подтянутый и элегантный, он обладал замечательным обаянием, которое помогало ему в общении с самыми разными людьми. Он всегда умел безошибочно найти правильный тон, то, что было интересно собеседнику, и общение с ним доставляло массу удовольствия. В его манере не было желания подладиться под собеседника, ему действительно было интересно с каждым новым человеком, и он обладал замечательной способностью слушать, которая так редко встречается в наше время.

Как терпеливо он выслушивал мои многословные рассуждения о литературе и об искусстве, роняя время от времени свои короткие, но всегда точные замечания.

Эта счастливая способность к сопереживанию сочеталась у Валеры с трезвым прагматизмом и недюжинными организаторскими способностями. Есть люди, которые живут, не особенно задумываясь об окружающих, воспринимая их знаки внимания как нечто само собой разумеющееся. Для Валеры такое отношение было невозможным.

Ему мало было самому посмотреть какой-нибудь интересный фильм или спектакль, сходить на выставку. Ему обязательно надо было затащить туда друзей, чтобы разделить с ними радость увиденного. Сколько плановых посещений «Иллюзиона» организовал он для нас в свое время!

В 1971 году Валера был председателем студенческого комитета мехмата. Работа эта была непростая, но зато давала ему право на отдельный блок в общежитии факультета и прямой городской телефон, что было для него жизненно необходимо, так как он тогда был уже женат и имел двоих очаровательных девочек-близняшек.

Помню, как-то я зашел к нему в гости по какому-то пустяшному поводу и невольно стал свидетелем двух интереснейших эпизодов, так для него характерных.

Валеру часто донимали телефонные звонки какой-то мифической Свете, кто-то с завидным упорством день за днем упрямо набирал Валерин номер и требовал ее к телефону. Наконец, терпение моего друга лопнуло, и на очередной звонок с требованием позвать вышеозначенную Свету Валера тихим и печальным, но ясным и четким голосом ответил: «Света вчера умерла. Что-нибудь передать родственникам?» Ошеломляющая тишина воцарилась на том конце телефонной трубки, а затем раздались короткие гудки. Больше Свету никто не спрашивал.

С тем же телефоном связана еще одна забавная история, свидетелем которой я был. Как-то раздался звонок с телефонной станции, и телефонистка быстрой скороговоркой потребовала от Валеры, взявшего трубку, номер его телефона (по-видимому, для подтверждения, что попала туда, куда надо). «Я незнакомым девушкам номера своего телефона не даю», — ответил на это он. «Но я звоню с телефонной станции», — возразила телефонистка. «Тем более», — ответил мой друг. «Это хамство, я вас отключаю», — заявила в ответ барышня со станции, и телефон погрузился в молчание.

Однако беспечная телефонистка не знала, что Валера давно уже разработал устройство, с помощью которого он легко включался в сеть: для этого, оказывается, достаточно было пропустить через телефонный провод 40 вольт прямого тока. Включившись, Валера потратил целый час для того, чтобы дозвониться до начальницы смены и потребовать от нее наказания для нахамившей телефонистки. В ответ на мой вопрос, стоит ли терять свое время на такую ерунду, он возразил, что это отнюдь не ерунда и что многие наши беды как раз и связаны с тем, что мы попустительствуем хамству и не доводим в таких ситуациях дело до конца.

Валера Варданян обладает потрясающим талантом собирать вокруг себя интересных неординарных людей. Именно у него я познакомился с Владимиром Андреевичем Успенским, Андреем Грюнталем и многими другими незаурядными личностями. Люди всегда тянулись к нему, а сам он расцветал в веселой интеллектуальной атмосфере дружеского застолья.

Совсем недавно я узнал, что он сам пишет стихи, получив от него в подарок тоненькую книжку избранного, которую я с удовольствием прочитал и которая напомнила мне многое, забавное и трогательное, из нашего далекого студенческого прошлого.

* * *

С Сашей Харшиладзе я познакомился на знаменитом научном семинаре М. М. Постникова по алгебраической топологии, который начал посещать с третьего курса. Михаил Михайлович стал моим руководителем, но основной состав его студентов был набран годом ранее: Ю. Рудяк, А. Гаврилов, С. Малыгин, Н. Гозман и сам Саша были старше нас, пришедших на семинар осенью 1969 г. Все они были очень способными математиками и прекрасными товарищами, но даже на их фоне Саша, безусловно, выделялся.

Представьте себе стопроцентного грузина, при этом типичного русского интеллигента, сочетающего в себе замечательно учтивую доброжелательную манеру общения с естественным мягким обаянием, стройного, симпатичного, всегда готового откликнуться на просьбу собеседника, — и вы получите приблизительный Сашин портрет. Приблизительный, потому что я не берусь передать ту особую завораживающую манеру, присущую Саше, которая так

действовала на его визави, в особенности на девушек, всегда отмечавших его присутствие и тянувшихся к нему.

Помнится, у меня как-то возникли вопросы по поводу гомотопии цепных комплексов, и Саша, у которого я попросил консультации, потратил немало времени, объясняя мне, что к чему. Но близко мы сошлись только годом позднее, когда А. В. Чернавский вывез нас на дачу М. И. Штанько под Фрязино, где мы устроили интенсивную двухнедельную математическую школу. Такие летние школы были очень популярны в то время, и на них удавалось порой научиться за неделю тому, что учат месяцами.

Приехав на дачу, мы первым делом поймали ежа и поселили его в доме, чтобы можно было в процессе лекций и обсуждений сказать собеседнику «и ежу понятно», что часто было последним аргументом в математическом споре, присмотрели поле для игры в футбол и распределили доклады.

Я до сих пор помню, как четко, обстоятельно и понятно рассказывал Саша. Для него математика была всегда внятной цепью логических рассуждений, он не «чувствовал ее животом», как это свойственно некоторым склонным к интуиции людям, а всегда докапывался до сути и доводил все до полных доказательств.

В связи с этим мне вспоминается одна замечательная история, как всегда виртуозно рассказанная Сашей. Дело в том, что когда он учился в аспирантуре Математического института им. В. А. Стеклова, там работал замечательный молодой алгебраический геометр Федя Богомолов, уже снискавший себе мировую известность своими прекрасными результатами. При этом Федя как раз тяготел скорее к тому типу математиков, которые чувствуют науку «животом», элемент интуиции был очень силен в нем.

По словам Саши, они с Федей сидели на столе, свесив ноги, и Федя рассказывал некую математическую конструкцию, часто употребляя термин «функтор», который явно играл центральную роль во всем рассказе. Наконец, не выдержав, Саша спросил: «Федя, функтор из какой категории в какую?» Тут Федя, перестав болтать ногами, надолго задумался, а потом неожиданно сказал: «Ты знаешь, это не функтор, это группа». (Для читателей-нематематиков сообщу, что «функтор» и «группа» — абсолютно разнородные понятия, которые и нарочно не путаешь, вроде как какое-либо чувство, например любовь, и предмет реального мира, скажем, чайник.)

Другая Сашина история, которую я очень люблю, также связана со Стекловкой. Саша сдавал аспирантский экзамен А. Н. Тюрину. Он получил теоретический вопрос и задачу следующего содержания: будет ли сфера с проколами многообразием Штейна?

Харшиладзе честно подготовил вопрос, помучился над задачей и пошел на сдачу. Вернулся он ко мне совершенно обескураженный (я в то время как раз оказался по случаю в МИАНе). «Ты знаешь, Андрей, — сказал Саша, — со мной первый раз такое: я не ответил ни на один вопрос и получил четверку». Оказывается, Андрей Николаевич, увидев Сашу, сказал: «Ну, билет вы, конечно, знаете, а задачу сделали?» — «Нет», — честно признался мой друг. «Ну тогда четыре», — заключил Тюрин, и экзамен закончился.

У Саши была всегда непростая личная жизнь, он несколько раз разводился, но лет пятнадцать тому назад я подметил одну странную мистическую закономерность, связанную с этими разводами. Так получилось, что я часто переезжал с места на место в Москве, меняя квартиры в связи с женитьбой, рождением детей и т. д. И вот обнаружилось, что каждый раз, когда я меняю квартиру, Харшиладзе разводится и меняет очередную жену! Причем происходило это несколько раз и, как правило, не позднее месяца со дня моего переезда.

Сейчас у Саши прекрасная семья, чудесная жена, и я с некоторым внутренним содроганием ожидаю того момента, когда нам неизбежно придется разменивать свою большую квартиру в Северном Бутове, чтобы отделить подросших детей. А что если таинственная связь между моими переездами и Сашиной личной жизнью все еще действует?

Саша в срок защитил кандидатскую, докторскую, стал профессором, но во время перестройки вдруг увлекся бухгалтерским учетом, полностью изучил его и даже написал на эту тему учебник. Сейчас он является финансовым директором в одном из институтов А. Семенова, и я как зам. директора Стекловки по этому поводу часто завидую Леше.



Математика



Самое первое отчетливое воспоминание моей жизни по иронии судьбы оказалось связано с математикой. Мне шесть лет, я сижу с отцом за письменным столом, и он занимается со мной, пытаюсь объяснить, как измеряется площадь треугольника, круга и других фигур. К тому времени я уже хорошо читал и считал, умел немного писать, и ему казалось, что пора приобщить меня к более сложным математическим понятиям.

«Вот смотри, — говорит отец, — площадь треугольника равна половине произведения длины основания на высоту, а площадь круга равна „пи“ на „эр“ в квадрате». — «Папа, — отвечаю я, — ты мне пишешь какие-то буквы, но не говоришь, что такое площадь». В итоге все закончилось моим плачем и папиным раздражением: он не был математиком и не мог объяснить мне, что площадь — это функционал на множестве измеримых фигур, обладающий определенными свойствами, да я и не воспринял бы тогда по крайней молодости лет такого объяснения. Однако я помню всю глубину своего непонимания и искреннее желание осознать, что же это за штука такая — площадь и почему она называется так же, как площадь Ленина в центре Полоцка, где мы тогда жили.

Когда я подросток и пошел в школу, я легко научился манипулировать буквенными и численными выражениями и вычислять площади, но вплоть до интернатских лет у меня при этом не возникало естественного детского вопроса: а что же такое площадь?

Мне кажется, что мозг ребенка, не испорченный еще потоком подчас бессистемных знаний, который накрывает его в школьные годы, готов к правильному восприятию математики, но это чувство обычно утрачивается с течением времени под влиянием различных обстоятельств или просто за ненадобностью.

Кстати, идея измерения путем сопоставления с какими-то стандартными объектами, которая, по-видимому, и должна лежать в основе объяснений ребенку понятий длины и площади, прекрасно реализована в замечательном советском мультфильме «38 попугаев»,

который я считаю выдающимся примером ненавязчивого учебно-методического фильма по математике.

Я вновь столкнулся с математикой буквально через год, играя с друзьями в классики на разрисованном мелом асфальте. Не помню, кто принес в наш двор задачу-головоломку: как обвести заклеенный конверт (прямоугольник с нарисованными диагоналями) карандашом так, чтобы при этом не пройти дважды ни по одному ребру картинке. Мы все как один бросили классики и стали чертить мелом на асфальте бесконечные конверты. Однако у нас ничего не получалось. При этом незаклеенный конверт легко поддавался такому обводу, а вот заклеенный — нет.

Я долго не мог забыть эту задачу, пока через три года кто-то из моих старших друзей не рассказал мне ее решения. Оказалось, что если такая обводка картинке возможна, то у всех вершин, кроме конечной и начальной, должно быть четное число входящих в них ребер, потому что, войдя в вершину по одному ребру, вы должны затем выйти по другому, стало быть, каждый проход ведет к обводке двух ребер, а это четное число. Нечетное число ребер может быть лишь у двух вершин, начальной и конечной, но у заклеенного конверта таких нечетных вершин четыре. Значит, задача не имеет решения.

Я так подробно пишу об этой хорошо известной задаче, потому что, во-первых, полностью понял тогда ее решение, а во-вторых, испытал совершенно исключительное чувство красоты и освобождения: поразительно, но оказалось, что не надо решать каждую такую задачу в отдельности, а можно изучить их все сразу, заметив то общее, что их объединяет: четность и нечетность числа ребер. Эта идея, идея сопоставления арифметического инварианта геометрической конструкции (как мы бы теперь сказали) меня совершенно поразила.

Потом, когда я начал заниматься в математическом кружке пятого класса в Таллине у замечательной учительницы Анны Аркадьевны, открывшей мне дверь в интригующий и загадочный мир математики, я часто встречался с этой идеей в различных ситуациях, но первое впечатление, связанное с задачей о конверте, запомнилось мне на всю жизнь.

Новый импульс к занятиям математикой, который я испытал, совпал по времени с нашим переездом в Калининград. Я учился тогда в восьмом классе и очень интересовался радиоэлектроникой:

собирал сам транзисторные приемники, упаковывая их в миниатюрные мыльницы, и эти приемники работали. Как-то отец купил мне ламповый усилитель в наборе, я, тщательно сверяясь со схемой, собрал его, а затем решил присоединить к нему колебательный контур, чтобы получить настоящий радиоприемник. Я купил ферритовый стержень, намотал на него моток проволоки и подсоединил к усилителю через переменный конденсатор. Каково же было мое удивление, когда в приемнике послышался бодрый дикторский голос с типичным западным акцентом: я попал неожиданно на волну «Голоса Америки»!

Мне хотелось продолжить эти занятия на более содержательном уровне, и я пошел в Калининградский городской дом пионеров, чтобы записаться в соответствующий кружок, но тот был совершенно переполнен желающими, и мне отказали. Тогда я с горя записался в кружок вычислительной техники, который оказался на проверку кружком по математике, причем очень хорошего уровня: здесь работали преподаватели Калининградского политехнического института, и здесь я очень многому научился, познакомившись с совершенно новым для себя классом задач и методов.

До сих пор помню, какое впечатление произвела на меня одна естественная несложная геометрическая задача, рассказанная преподавателем: можно ли на бесконечной клетчатой бумаге провести через данный узел прямую, не пересекающую других узлов решетки?

Решение здесь вновь сводится к арифметике: если бы все прямые, выходящие из данного узла, пересекали бы обязательно какой-либо другой узел, то тангенсы углов в прямоугольном треугольнике, образованные отрезком такой прямой и перпендикулярными линиями сетки, проходящими через эти узлы, были бы обязательно рациональными числами, но ведь можно провести прямую через данный узел так, что тангенс соответствующего угла будет иррациональным, и такая прямая, стало быть, других узлов не пересечет.

Занятия в кружке шли очень интенсивно, и мой математический уровень под влиянием этих занятий заметно вырос, а главное, я почувствовал настоящий вкус к решению задач, меня по-прежнему завораживали неожиданные связи между различными методами, комбинаторными, геометрическими и числовыми, которые порой совершенно неожиданным образом объединялись при решении конкретной задачи.

Система олимпиад в Калининградской области была прекрасно отлажена, и в 1965 году я прошел по всей выстроенной олимпиадной цепочке, победив последовательно на школьной, районной и областной олимпиадах. Вместе со мной в областную команду, едущую на Всероссийскую физико-математическую олимпиаду, также попал мой приятель по кружку Боря Ровнер, и руководство команды приняло решение взять вместо девятиклассников двух способных учеников восьмого класса.

Это решение оказалось правильным. Боря получил на Всероссийской олимпиаде диплом второй степени по физике, а я — аналогичный диплом по математике, и в результате впервые Калининградская областная команда в борьбе с другими областными и республиканскими командами вошла в почетную десятку.

С удовольствием вспоминаю проведенное в Москве, в МГУ и в МФТИ олимпиадное время: здесь я впервые услышал лекцию А. Н. Колмогорова о комплексных числах, вживую увидел И. Г. Петровского, вручавшего нам дипломы, и познакомился с другими победителями по математике, которыми стали Андрей Суслин и Игорь Кричевер, разделившие со мной диплом второй степени, и Мишей Бошчерницаном, получившим диплом первой степени. (Суслин и Кричевер сейчас — крупнейшие математики с мировым именем, что же касается Миши, то он давно живет в Израиле и является ярким специалистом по теории динамических систем.)

В качестве приза я получил увесистую стопку книг по математике, которую поленился тащить домой и сдал в букинистический, чего до сих пор не могу себе простить, ведь в этой пачке находилась книга Спрингера «Римановы поверхности», от которой я и сейчас бы не отказался, и многое другое.

После олимпиады я поступил в Ленинградскую физико-математическую школу-интернат № 45, и начался совсем новый период в моей жизни, о котором также немного рассказано в этой книжке.



Школа



Я вырос в семье военнослужащего, мы часто переезжали, и за свою жизнь я сменил несколько школ: начинал учиться в первом классе в белорусском городе Полоцке, затем во время отцовской учебы в академии Генерального штаба два года проучился в Москве, а с третьего по седьмой класс включительно — в Таллине. Пожалуй, именно таллинский период жизни стал для меня самым насыщенным и интересным.

Отец, по обыкновению, устроил нас с сестрой в самую лучшую местную школу № 19, в которой я и проучился целых 5 лет. Школа у нас была действительно очень хорошая, с прекрасными учителями математики, физики, английского, а мой класс отличался еще и очень сильным и ровным составом. Юра Меримаа, Миша Корчемкин, Лена Скульская, Густав Пяльль, Олег Румянцев, Саша Судницын были уже тогда, в детском возрасте, неординарными личностями, и общение с ними было для меня большой радостью.

Юра и Миша привлекли меня к занятиям плаванием в бассейне ЦСКА, и все 5 лет я его исправно посещал, так, правда, и не добившись каких-либо спортивных успехов, но научившись грамотно плавать всеми стилями и наработав себе запас здоровья на много лет вперед. А с Олегом мы посещали многочисленные таллинские кружки во Дворце пионеров и в других местах.

Чем я только не занимался тогда! Кружок по радиodelу, где я научился азбуке Морзе, театральный кружок, где я сыграл в пьесе «Тимур и его команда» (до сих пор помню замечательную сцену, в которой Тимур говорит какой-то опешившей при его появлении девочке: «Тише, Таня, кричать не надо, я — Тимур»), спортивная секция фехтования на саблях и т. п. Когда отец звонил домой, находясь в очередной командировке, то обязательно спрашивал, в какой еще кружок записался его сын, и удовлетворенно хмыкал, выслушав очередной длинный перечень.

Но самым полезным для меня в ту пору оказался неожиданно кружок рисования, куда я записался по следующей причине. Дело

в том, что я был воспитан в психологии отличника. Обладая в детстве сильным энергичным характером, я во всем желал быть первым, и родители умело канализировали эту мою страсть в сторону учебы. Для меня было абсолютно неприемлемым уступать кому-то в школьных занятиях, а уж получать четверки — тем более. И вот в одной из четвертей я получил «четыре» по рисованию, что было для меня совершенно непереносимо. И тут-то мой приятель Гутя Пялль, который уже тогда прекрасно рисовал, и привел меня на занятия этого кружка.

Сразу честно признаюсь, что никогда не обладал и, по-видимому, уже не буду обладать способностями рисовальщика, и тем не менее занятия в кружке оказались захватывающе интересными. Мы не только рисовали (что у меня получалось неважно), но и выслушивали интересные лекции. Именно на этом кружке я впервые узнал о перспективе, и с того момента, по крайней мере композиционно, мои рисунки стали приемлемыми. Произошло на одном из занятий кружка и событие, которое очень повлияло на меня, раздвинув рамки моего восприятия мира. Один из моих одноклассников, Ориничев, бравший кроме регулярных занятий еще и платные индивидуальные, как-то принес свою акварель, на которой был изображен лежащий у стены большой стеклянный шар, на который падали солнечные лучи, преломляясь всевозможными цветами радуги и окрашивая этими цветами стену.

«Не бывает стен такого цвета, — сказал я, — стены обычно белые». — «А вот и нет, — ответил мой приятель, — это чисто белых стен не бывает». После небольшого спора он согласился, что и той причудливой расцветки, которую он изобразил на картине, он тоже никогда не наблюдал наяву, но добавил, что «так он видит эту картину». Это объяснение глубоко поразило меня, потому что по сути здесь я впервые встретился с понятием свободы творчества и осознал, что человек не обязан слепо копировать окружающее, а имеет право на собственный взгляд на мир и даже, наверное, этим-то и интересен для других.

Позднее, когда преподаватель рассказал нам об импрессионизме, я многое принял и в самом рисунке, но все-таки главным уроком стало именно это новое понимание, и я порой, еще довольно смутно, уже обдумывал те возможности, которые оно открывало.

Не столько мои успехи в живописи, сколько удивившие нашего учителя рисования усилия, которые я прилагал, чтобы исправить четверку, подействовали на него, и в итоге я благополучно решил эту проблему, а затем и мои занятия в кружке как-то сошли на нет.

Решив сходным образом аналогичную проблему с пением (я записался в школьный хор, где действительно научился интонировать, а какой-то слух, пусть небольшой, у меня всегда был), я успокоился и переключился на более привычные мне занятия спортом и турпоходами, которыми мы тогда всем классом увлекались.

В жизни каждого человека бывают такие события, которые неожиданно резко, скачком меняют его отношение к жизни и порой саму систему ценностей. Для меня наряду с историей, описанной выше, таким событием стало следующее.

Как-то уже в годы, когда я учился в Ленинградском физико-математическом интернате, мы большой компанией отправились на какой-то киносеанс в центр на Невский проспект. Наряду с моими одноклассниками в нашей компании оказалась самая интересная девочка школы Лена Подгорная. Независимая, красивая, она отличалась очень естественным стилем поведения и, в отличие от некоторых других моих соклассниц, совершенно не страдала никакими комплексами. Было ужасно жарко, несмотря на недавно прошедший дождь, и вдруг у Аничкова моста Лена неожиданно сняла свои туфли и гольфы и пошла по мокрому асфальту босиком, с явным наслаждением касаясь голыми ногами прохладного тротуара. Сделала она это так элегантно и с таким видом, как будто одна находится на переполненном проспекте и ей нет дела до встречающих прохожих, которые тут же стали, кто с любопытством, кто с явным неодобрением, сверлить ее своими взглядами.

Воспитанный в военной семье в довольно суровых традициях, я вначале испытал очень сильное чувство неловкости и даже стыда за Лену, но потом внезапно почувствовал то, что я назвал бы уместностью ее поступка: он не выпадал из стиля, в котором в этот день жил Невский, и в каком-то смысле гармонировал и с жарким летним днем, и с прошедшим дождем, и с какой-то особой праздничной атмосферой июньского воскресенья.

В этот день, благодаря Лене, я сам во многом избавился от той излишней стеснительности и застенчивости, которые, несмотря на

свой открытый характер, приобрел в детстве, их заменило мне (не полностью, конечно) чувство уместности¹.

В 1964 году мы покинули Таллин, переехав в Калининград, и для меня настал совсем новый этап в жизни: в нее вошли занятия математикой, но об этом уже было рассказано в предыдущей части.



¹ Уже гораздо позднее в студенческие годы я нашел в книге «Офицеры и джентльмены» любимого мною Ивлиева следующую характеристику одной из героинь: «Насколько это было в пределах человеческих возможностей, Вирджиния обладала способностью не испытывать стыда, но вместе с тем у нее было твердое, врожденное чувство уместности тех или иных поступков» и поразился, что почувствовал нечто похожее по отношению к Лене в тот далекий жаркий июньский день на Невском проспекте.

Мехмат



Еще в десятом классе интерната я принял твердое решение поступать на механико-математический факультет МГУ. Я родился в Москве, здесь жили все мои родственники, да и экзамены в МГУ проводились на месяц раньше, чем во всех других вузах страны за исключением МФТИ, что тоже было немаловажным фактором при принятии решения: не хотелось ждать долгих полтора месяца и томиться без дела. Родители отговаривали меня, резонно объясняя, что в Ленинградский университет я поступлю без проблем, так как наши преподаватели-матмеховцы хорошо знали меня, да и к выпускникам интерната там отношение было особое. Но я не поддался на их уговоры, поскольку совершенно вступительных экзаменов не боялся. Учился я легко и без напряжения (окончив интернат первым в своем выпуске и получив золотую медаль), любую вступительную работу, которых мы в целях тренировки написали массу в последние месяцы учебы, писал вместе с оформлением за 40-50 минут и не сомневался, что обойдусь при поступлении в МГУ двумя экзаменами по математике письменной и устной (в то время уже существовало положение, по которому медалисту для поступления достаточно было сдать на пятерки лишь профилирующие предметы).

Однако действительность оказалась сложнее, чем я ожидал: на письменном экзамене я потратил все четыре часа на то, чтобы решить и оформить задачи, у меня даже не осталось времени на проверку, и я так вымотался, что долго не мог прийти в себя. Дело в том, что в тот год вступительная работа оказалась на редкость трудной из-за знаменитой задачи с шаром, у которого надо было найти ту часть объема, которая высекалась пирамидой с вершиной в центре шара.

Я потратил более двух часов на ее решение, пока не нашел очень простой комбинаторный способ, состоящий в том, что я представил себе шар гипсовым и, как бы работая мастерком, стал удалять из него все лишнее, двигаясь по граням пирамиды (которые совпадали с большими кругами-сечениями шара). При этом по несколько раз отбрасывались ломтики, похожие на ломтики апельсина, объем

которых легко считался. В общем, все дело сводилось к аккуратному комбинаторному подсчету отброшенного и оставшегося.

В итоге я все-таки сделал какую-то арифметическую ошибку при подсчете, но все равно получил за экзамен пятерку, затем сдал без особых проблем на «отлично» устный экзамен и в июле 1967 года был принят на первый курс механико-математического факультета МГУ.

Мне повезло, я еще застал знаменитую эпоху расцвета мехмата. Наверное, никогда ни в одном математическом центре мира не собиралось под одной крышей столько выдающихся математиков! Колмогоров, Петровский, Шафаревич, Александров, Гельфанд, еще совсем молодые блистательные Арнольд, Новиков, Манин, Синай, Аносов, Кириллов — всех просто невозможно перечислить. И все читали интереснейшие спецкурсы и вели спецсеминары, на которые приходило столько студентов, что приходилось брать стулья в соседних аудиториях и даже сидеть во время занятий на подоконниках, пристроив тетрадки у себя на коленях.

А какой интересной и интенсивной была нематематическая жизнь! Тот же П. С. Александров регулярно проводил свои знаменитые музыкальные вечера. В ДК МГУ проходили интереснейшие спектакли и концерты, в аудитории от по вечерам показывали киноклассику, был доступен университетский бассейн, теннисные корты и многое другое.

В столовой зоны «Б» и в знаменитой закусочной, прозванной студентами (совершенно несправедливо) «тошнилровкой», прекрасно и дешево кормили, а рядом по соседству в небольшом кондитерском магазине можно было купить такие недоступные в городе деликатесы, как миндаль в шоколаде.

Московский университет с его громадным зданием представлял из себя целый мир, и этот мир мне ужасно нравился.

Уже на первом курсе я начал посещать спецкурс Александрова по общей топологии, но вскоре мои друзья Игорь Кричевер и Витя Турчанинов буквально утащили меня на проходивший в то же время спецсеминар А. Г. Витушкина, на котором тогда во всех подробностях разбиралось доказательство леммы Жордана о том, что несамопересекающаяся непрерывная замкнутая кривая разбивает плоскость на две области. Для меня эти занятия оказались очень хорошим уроком, продемонстрировав, как далеки бывают наши интуитивные представления от четкого математического доказательства.

С громадным удовольствием я посещал спецкурс Рашевского по дифференциальной геометрии и алгебрам Ли, потому что Рашевский обладал замечательно неторопливой манерой чтения и так прекрасно продумывал свои лекции, что они очень хорошо воспринимались студентами.

Но особенное впечатление произвела на меня вышедшая ротапринтным изданием книга Фукса, Фоменко и Гутенмахера «Гомотопическая топология». Во-первых, там были загадочные рисунки Анатолия Тимофеевича, которые, согласно авторскому предисловию, должны были иллюстрировать математический текст книги, а во-вторых, меня совершенно поразил подход к доказательствам, который использовался в ней. Я уже привык к тому времени к четким алгебраизованным доказательствам на « δ »-языке, а тут читателю в качестве доказательств предлагали всего лишь наглядные и, как мне казалось, нестрогие геометрические наблюдения. Но потом я сообразил, что каждое приведенное там доказательство может быть переписано абсолютно формально и, стало быть, проверено, что, думаю, надо один раз в жизни проделать каждому математику, но только один раз, не больше, потому что само осмысление сути происходящего должно формулироваться именно в наглядных геометрических терминах.

Во многом под влиянием этой книжки я решил заниматься в дальнейшем алгебраической топологией и попросил в конце второго курса Михаила Михайловича Постникова быть моим научным руководителем.

Михаил Михайлович читал нам курс линейной алгебры и был колоритной фигурой: стройный, несмотря на некоторую полноту, с красиво вылепленной и величественно посаженной головой, он более, чем кто-либо из моих мехматских учителей, соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть профессор. Лекции он читал превосходно, заранее продумывая и фиксируя на листке бумаги, что, когда и в каком месте напишет на доске. Позднее он научил этому и меня, и его наука мне очень пригодилась впоследствии в преподавательской работе.

Знаменитый семинар М. М. Постникова по алгебраической топологии и ее приложениям до сих пор успешно работает по вторникам, но тогда он только начинался, и именно на этом семинаре я научился многому из того, что знаю в математике. Этому способ-

ствовало то обстоятельство, что, как выяснилось, М. М. все знал. О чем бы вы его ни спросили, он, на минуту задумавшись, говорил: «Несколько лет назад я читал об этом там-то и там-то», — а затем исчерпывающим образом отвечал на вопрос по существу. Кроме того, он был знатоком литературы, часто цитировал Булгакова (особенно «Театральный роман», который очень любил) и обладал уникальной полной коллекцией книг по научной фантастике, издававшейся тогда не слишком часто. Его остроумная, но всегда уважительная манера, с которой он общался с собеседником независимо от его возраста и знаний, производила очень сильное впечатление на всех нас, а атмосфера самого семинара была исключительно доброжелательной и творческой.

Последнему во многом способствовало и самое активное участие в работе семинара одного из его руководителей Алексея Викторовича Чернавского. Он обладал замечательной способностью задавать докладчикам именно те вопросы, которые проясняли суть дела, и не стеснялся лишний раз спросить, если чего-то не понимал. Именно благодаря его вмешательству семинар превратился в типичный семинар «в русском стиле» (как говорят на Западе), когда целью доклада становится понимание того, что рассказано, а не поверхностная презентация результатов выступающего.

В дополнение к семинару Чернавский регулярно вывозил нас на импровизированные летние математические школы в Поваровке, во Фрязино, под Сергиевым Посадом, где благодаря практически круглосуточному математическому общению мы выучили много новых для себя вещей.

Алексей Викторович чувствовал какую-то особую ответственность за меня и моего товарища Володю Лексина и уделял нам массу своего времени. Во многом благодаря ему я в итоге нашел свое дело в математике, которым оказалась аналитическая теория дифференциальных уравнений. Но это произошло уже в аспирантуре, которой предшествовала защита диплома на пятом курсе и сдача экзаменов.

М. М. Постников придумал мне очень любопытную тему: я должен был посчитать, хотя бы частично, группы бордизмов многообразий, первые пять классов Штифеля—Уитни которых равны нулю. Задача эта выглядела несколько искусственной (хотя позднее оказалось, что аналогичными задачами занимались и на Западе, на-

пример, Лиувеличиус и др.), зато по степени ее выполнения вполне можно было судить о том, насколько дипломник овладел сложным аппаратом алгебраической топологии: здесь надо было знать и схему Тома, и спектральную последовательность Адамса, и многое другое. Я успешно справился с задачей, и диплом был очень высоко оценен рецензентом, в качестве которого выступал А. Б. Сосинский (который, правда, написал в отзыве, что продемонстрированная в работе техника достойна лучшего применения, имея в виду уже упомянутую некоторую искусственность задачи). Я был рекомендован в аспирантуру, и в сентябре 1972 года мне предстояли вступительные экзамены.

Экзамен по математике у меня принимали П. С. Александров, Н. В. Ефимов и М. М. Постников. Удостоверившись, что я вполне уверенно отвечаю на билет, М. М. пошел обедать, и я остался наедине с первыми двумя экзаменаторами. Павел Сергеевич решил проверить, знают ли алгебраические топологи общую топологию, и начал задавать мне соответствующие вопросы про бикомпактификации, отделимости, теорему Тихонова и т. д. Все это несложные вещи, которые я освоил еще на первом курсе, посещая спецкурс по общей топологии, так что к большому удовольствию П. С. я успешно на все ответил, получил пятерку, и экзамен для меня на этом закончился. Однако он имел неприятные последствия для многих моих друзей — общих топологов, сдававших экзамен вслед за мной.

Дело в том, что Павел Сергеевич решил проверить, знают ли общие топологи, в свою очередь, основы алгебраической топологии, и поинтересовался у одного из поступавших, чему равна фундаментальная группа кренделя, но ответа не получил. Затем последовал вопрос о фундаментальной группе тора и т. д. Когда же очередному сдающему не удалось вычислить фундаментальную группу окружности, П. С. всерьез рассердился и сказал, что это безобразие, что молодые общие топологи совсем не знают основ комбинаторной топологии (которую сам П. С., как и другие топологи его поколения, прекрасно знал). Впрочем, в итоге все кончилось благополучно, и все мои друзья успешно преодолели экзаменационный барьер.

На первом году аспирантуры произошло событие, которое полностью изменило мою жизнь: А. В. Чернавский и В. А. Голубева организовали небольшой спецсеминар по дифференциальным урав-

нениям на комплексных многообразиях, участниками которого стали мы с В. Лексиным. Одним из основных инициаторов была Валентина Алексеевна Голубева, беззаветно любящая математику и обладающая уникальным чутьем на новые интересные статьи, идеи. Вы могли спросить ее мнение о какой-либо работе и получить такой ответ: «Я ее не читала, но думаю, что в ней сделано то-то и то-то», и она часто оказывалась права!

Голубева хотела, чтобы мы разобрали статью французского математика Раймона Жерара, перенесшего на многомерный случай теорию фуксовых систем голландца Тони Левельта и сделавшего первые шаги на пути исследования обобщения знаменитой проблемы Римана—Гильберта о построении фуксовой системы уравнений по заданным особенностям и монодромии. Но начали мы все же со знаменитой работы Хельмута Рорля, впервые применившего к такого рода задачам методы алгебраической геометрии.

Я погрузился в новый для меня мир аналитической теории дифференциальных уравнений, и этот мир пленил меня. Замечательно, что здесь оказались востребованы и мои знания основ алгебраической геометрии, что счастливым образом помогло позднее мне получить ряд известных результатов по классической проблеме Римана—Гильберта, в задаче о биркгофовой стандартной форме и некоторые другие результаты. Но все это произошло позднее, а пока, разбирая работу Жерара, я нашел в ней грубую (хотя и хитро спрятанную) ошибку, которая не поддавалась простому исправлению. По сути дела надо было начинать все сначала, я попытался это сделать, и в итоге мне удалось построить обобщение теории Левельта на многомерный случай. Этот результат составил предмет моей кандидатской диссертации, которую я успешно защитил в 1976 году в МГУ. А Алексей Викторович Чернавский стал моим вторым полноправным научным руководителем.

На первом году аспирантуры мне пришлось делать выбор между занятиями поэзией и математикой: и то и другое требует всего человека целиком, всех его сил, всего времени. Невозможно получить хороший результат, работая урывками по 5-6 часов в день, надо погрузиться в задачу полностью, не оставляя ее ни на секунду в течение длительного времени, целиком сконцентрироваться на ней. Точно так же вы не сможете успешно заниматься поэзией, если не будете постоянно поддерживать в себе особое настроение, то

необычное мироощущение, которое, собственно, и является основой любого поэтического произведения.

Впрочем, на самом деле выбор я уже сделал, поступив в аспирантуру, а первые полученные мной результаты, мучительный поиск решения и озарение внезапного понимания сути происходящего приносили мне ничуть не меньшую радость, чем занятия поэзией.

Но все равно мне было очень больно наблюдать, как отмирает за невостребованностью моя способность воспринимать самые тонкие нюансы, обертоны поэтических произведений, как снижается острота сопереживания и способность проникнуться мироощущением читаемого поэта. Но это неизбежная плата за выбор, за профессионализм в выбранном ремесле.

Конечно, я и сейчас с большим удовольствием перечитываю своих любимых поэтов, но то, что я при этом испытываю, не идет ни в какое сравнение с теми эмоциями, которыми сопровождалось их чтение в замечательные далекие студенческие годы.



Общественные науки



Как часто мне приходилось слышать от моих коллег, что их жизнь на мехмате МГУ была бы прекрасна, если бы не необходимость заниматься общественными науками: историей партии, философией, политэкономией. Сколько трагических историй о загубленной аспирантуре или о неудачно сданной сессии по причине именно общественных наук можно найти в студенческом фольклоре. Скажу сразу, что никогда полностью не понимал и не принимал этих рассказов.

Мне кажется, что многие эти истории скорее говорят об интеллектуальной лени их персонажей, не способных или не желавших сделать над собой минимальное умственное усилие для того, чтобы решить эту заведомо разрешимую проблему.

Мне повезло, мое отношение к общественным наукам сформировалось под влиянием замечательного человека, преподававшего тогда курс философии на мехмате, Евгения Александровича Беяева. Я посещал на старших курсах его кружок по философии искусства, на котором впервые познакомился с работами Выготского и Потебни, прочитал с огромным интересом знаменитую книгу Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Евгений Александрович внушил нам простую мысль: все курсы общественных дисциплин опираются на ограниченный объем фактического материала, вполне доступный для памяти студента МГУ, и основаны на очень простых правилах игры (так же как и политическая жизнь, и поведенческие стереотипы общества). Для интеллекта мехматянина не должно составлять никакого труда понять эти правила и в нужные моменты действовать в соответствии с ними, поэтому любая оценка на экзамене по общественной дисциплине, кроме отличной, безусловно, является позором или признаком интеллектуальной лени для математика.

Он еще дал понять, каким серьезным испытанием являлись для преподавателей истории партии и философии практические заня-

тия по своим предметам на мехмате. Многие из них испытывали большой дискомфорт от одной мысли о встрече с мехматской аудиторией.

Действительно, было бы большим заблуждением думать, что можно поставить не понравившемуся студенту плохую оценку по политэкономии просто так. Нет, экзаменатор должен поймать студента на незнании или на неправильной интерпретации какого-либо общественного события, т.е. соблюсти некие правила. Ну, а если студент знает эти правила и заведомо не глупее вас — как быть в этом случае?

Главным условием успешного обучения по общественным наукам была активность на семинарских занятиях: надо было выступать, отвечать на вопросы, причем совершенно неважно, насколько разумными или идеологически правильными были эти выступления. Разумеется, нельзя было нарушать существующие правила: нести антисоветчину или подвергать ревизии линию партии, а в остальном вы были свободны, ибо ценилась именно активность как таковая.

Вспоминаю в связи с этим нашу преподавательницу политэкономии Н. В. Баутину, интеллектуалку и вообще очень интересную женщину, питавшую некоторую слабость к умеренному интеллектуальному хамству собеседника. Уж не помню, как я почувствовал в ней эту слабость, но, как-то выступая на семинаре и рассказывая о периоде рабфаков в 20-е годы, я сказал нечто вроде следующего: «Вот так и было принято решение о повышении культурного и научного уровня... преподавателей политэкономии». Нинель Владимировна при этом даже зажмурилась от удовольствия. Надо ли говорить, что я без проблем сдал ей впоследствии экзамен.

Активность на семинарах позволяла подчас получить экзамен автоматом, что освобождало от рутинной зубрежки материала, и я должен с удовольствием отметить, что за время обучения в МГУ не законспектировал ни одной работы классиков марксизма-ленинизма, что сэкономило мне массу сил и времени для других, более разумных дел.

Тем не менее возникали ситуации, когда дело шло всерьез, и оценка по истории партии становилась пропуском в аспирантуру. Здесь-то и приходилось применять те навыки и понимание правил игры, о которых я рассказывал выше.

До сих пор вспоминаю свой экзамен в аспирантуру по истории партии. Я сдавал его вместе со своим другом Колей Осмоловским, замечательным математиком и абсолютно лояльным гражданином: не нужно было даже заглядывать в его анкету, чтобы с уверенностью сказать, что уж это-то полностью наш человек, у которого нет и не может быть никаких политических и прочих недостатков. Тем не менее преподаватель, принимавший экзамен, решил на всякий случай попридержать Колю. Мне кажется, дело было в том, что в то время на радио «Голос Америки» был диктор с аналогичной фамилией, и в больном мозгу экзаменатора возникло некое сомнение по поводу Николая, а может быть, ему просто было скучно, и он решил немного порезвиться.

«Есть ли в СССР национальный вопрос?» — спросил преподаватель. Я замер и немного похолодел, понимая, в какую непростую ситуацию угодил мой друг. Скажешь, что есть, тебе ответят: «Ну как же, при развитом социализме...», скажешь, что нет, приведут примеры.

Однако экзаменатор не на того напал. «Есть, но решен», — последовал стремительный Колин ответ. Преподаватель только развел руками, поняв, что этот студент ему просто не по зубам, и экзамен для Коли благополучно закончился.

Мне же достался вопрос о речи Брежнева перед Всесоюзным собранием студентов. Разумеется, речи этой я не читал и читать не собирался, но отвечать-то надо было. Вдохновленный Колиным ответом, я сказал себе: «Неужели я глупее Леонида Ильича и не смогу воспроизвести его выступление?»

Через 15 минут я набросал тезисы выступления из 12 пунктов и протянул их экзаменатору. «Очень хорошо, — сказал он. — Но у вас имеется два пункта, о которых Брежнев ничего не говорил». — «Я знаю, — ответил я, — но они естественным образом вытекают из его обращения применительно к нашему университету. Поэтому я счел возможным добавить их при ответе». Экзаменатор был очень доволен моим объяснением и, отметив мой творческий подход к изучению истории партии, поставил итоговую пятерку.

Я, как правило, не посещал лекций по общественным наукам, лишь семинары, но однажды случайно забрел на лекцию по диалектическому материализму и получил громадное удовольствие: лектор еще на предыдущей лекции оказался втянутым в непростой вопрос о том, почему наш пространственный мир трехмерен, и как раз

в этот день решил поделиться с аудиторией своим доказательством необходимости трехмерия, найденным накануне.

«Возьмите точку и подвигайте ее, — сказал он, — получите прямую. Подвигайте прямую — получите плоскость, подвигайте плоскость — получите трехмерное пространство. А теперь попробуйте подвигать трехмерное пространство — и снова получите то же трехмерное пространство. Вот поэтому окружающий нас мир трехмерен!» Все попытки студентов объяснить лектору ущербность такой аргументации ни к чему не привели. По-моему, впоследствии он даже где-то опубликовал это свое доказательство.

Лекции по историческому материализму нам читал знаменитый Спиркин, прославившийся научным обоснованием уфологии, науки о летающих тарелочках. Говорят, его лекции были исключительно интересны и даже забавны: на них обсуждалось все, даже сексуальные проблемы (и их место в социальной структуре общества), однако я на них не ходил. Но мне посчастливилось наблюдать, как Спиркин принимал досрочный экзамен по своему предмету у одного моего приятеля. Делалось это на бегу, возле столовой зоны «Б». Спиркин задал моему приятелю всего один вопрос: «Скажите, то, чем вы занимаетесь со своей девушкой наедине во время свидания, это общественное явление или личное?» — и удалился в столовую. Через 30 минут мучительно размышлявший студент ответил вышедшему преподавателю: «Общественное». — «Нет, личное», — сказал на это Спиркин, поставил в зачетку четверку и удалился.

В качестве преподавателя по научному коммунизму нам достался замечательно миниатюрный, как бы высохший от времени А. И. Сухно, отсидевший в сталинские времена по нелепому обвинению, о котором он нам как-то рассказал следующую историю. В тридцатые годы он работал пропагандистом-агитатором и часто, выступая перед рабочими заводов и фабрик, разъяснял им линию партии. И вот с некоего момента он стал замечать, что ходит за ним какой-то человек и все записывает. Когда впоследствии уже в камере НКВД ему дали прочитать эти записи, он пришел в ужас. Так, скажем, выступая перед аудиторией, Сухно говорил: «В своей речи товарищ Молотов не успел подробно осветить следующий вопрос», а осведомитель записывал: «А. И. Сухно заявил с трибуны, что Молотов дурак и ревизионист» и т. д.

Разумеется, Сухно бурно протестовал против такой интерпретации своих слов, следовательно надоело с ним возиться, и он добавил в конце обвинительного заключения: «А кроме того, Андрей Иванович Сухно — бывший адъютант Махно», что уж ни в какие ворота не лезло, но что говорило о наличии у следователя элементарного, хотя и своеобразного чувства рифмы. В общем, А. И. Сухно получил свои 15 лет и был реабилитирован только в конце 50-х годов.



Гражданская оборона



Сколько анекдотов, смешных историй и небылиц было связано у младшекурсников в мои студенческие годы с гражданской обороной! Тогда она была введена в сетку расписания в качестве обязательного предмета и давала студенческому остроумию богатую пищу для всевозможных шуток и каламбуров. Давно стали классическими и прочно вошли в студенческий фольклор такие высказывания некоторых преподавателей, как:

«От меня до следующего столба шагом марш!»

или:

«Девушки биофака должны выйти из стен университета не только женщинами, но и офицерами запаса».

Трудно, практически невозможно в подобных случаях добраться до авторов этих «крылатых» фраз, и порой возникает вопрос: «Да полноте, существовали ли они на самом деле?»

Да, существовали. У одного из таких преподавателей ГО я учился. Это полковник К. Преподавал он на мехмате и химфаке в 1967—1968 годах, был требователен и суров со студентами, внешне выглядел вполне интеллигентно и подтянуто с аккуратной бородкой клинышком и в очках, чем-то напоминавших пенсне профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. Но это первое впечатление немедленно исчезало, как только полковник начинал говорить. Не то чтобы он говорил уж совсем неграмотно или кособоко, но по контрасту с его внешностью разговорная речь К. смотрелась какой-то неестественно упрощенной. Потом, когда мы узнали, что он имел официально лишь четыре класса начального школьного образования, все встало на свои места. Но я помню, что поначалу никак не мог приноровиться к его манере. В отличие от меня один из моих сокурсников, пришедших на факультет после службы в армии, быстро его раскусил и сразу нашел правильный тон.

Полковник спросил его, как он поступит, будучи директором завода, в случае объявления ядерной тревоги. При этом преподаватель вручил моему приятелю план завода с производственными помещениями и бомбоубежищами.

«Поскольку у меня бомбоубежища недостаточно вместительные, я отведу своих людей в убежища соседнего завода», — последовал ответ. «Вы правильно ответили, но по-хамски», — сказал на это полковник и поставил студенту весомую пятерку.

Уже начиная со второго занятия мы с приятелем стали записывать в тетрадь наиболее понравившиеся нам выражения и фразы полковника. Мы записывали за ним почти слово в слово, и перед тем, как привести здесь некоторые из этих фраз, я хочу еще раз отметить, что среди них нет ни одной придуманной нами и что полковник К. должен считаться их единственным и полноправным автором.

Хочется еще отметить, что свое дело полковник знал отлично, и того заряда бодрости и веселья, который давали нам занятия по ГО, хватало на всю неделю.

Вот некоторые высказывания полковника К. с моими краткими комментариями:

«От смешного до великого — один шаг».

«Мы вам преподносим самые высшие знания, которые существуют».

«Семью семь — сорок семь ($7 \times 7 = 47$)»

(к большой и тихой нашей радости).

« SiO_2 — двуокись кремния (купрум о два — двуокись кремния)»

(а это уже к радости ребят из группы химфака).

Полковник К. с большим уважением относился к своей науке, что нашло отражение следующем его высказывании.

«Гражданская оборона вынуждена обобщать данные всех наук».

Тут же он добавил, что пишет учебник по гражданской обороне, и так охарактеризовал его:

«Ну что вам сказать о моей будущей книге, в ней просто удачно скомпоновано все известное человечеству».

Вот еще некоторые из его знаменитых фраз.

«Председатель совета министров области».

«200 человек людей».

«6-8 лет спустя сегодня».

«Цель занятия была — расширить ваше творчество».

«Я ношу большой портфель и в нем имею на любой случай ответ».

«Он — плагиат».

«Преступления нас окружают везде и кругом».

«Те силы, которые стремятся к войне, видимо, еще существуют».

«Садиться за прочтение литературы поздно».

(Последнее было сказано в связи с необходимостью самообразования, которую остро ощущал К.)

«Расчет не от умного мышления, а от учета реальных действий».

«Нельзя сказать, что дилетанты, конечно, кое-что знают в своем деле».

«Мы хорошо понимаем одну вещь, но никак не хотим ее понять, вот в чем дело».

По поводу одной задачи, о которой мы спросили полковника, он ответил, что для ее решения

«Тут надо иметь или соломонову голову, или высокий диалект».

(Трудно не согласиться с такой точной и лаконичной оценкой!)

А вот серия высказываний о жизни и об умении правильно себя вести в ней.

«Всегда не улыбайтесь!»

«Молчаливый человек, иногда и дурак, выдает себя за умного».

«Моя дочь очень неумная, но она берет физически».

«Трудом можно взять многое».

Была в полковнике какая-то поэтическая жилка, что отразилось в следующих его фразах.

«После применения химического оружия нельзя прикасаться к веткам листьев».

«Уже через 2 часа кислорода в воздухе не окажется, у людей начнутся обмороки».

«Он падает в глубокое, а в конце концов и пожизненное забыть».

«На некоторых участках люди будут сидеть как неподвижные, как зачарованные, в погребках, в подвалах...»

«Танк и самолет не первой свежести».

А вот замечательная фраза, решающая проблему секса и порнографии в социалистическом обществе.

«Куда идет советский человек, если ему хочется посмотреть на голых женщин? — В Третьяковскую галерею».

И наконец, заключительные фразы К. о науке и о себе.

«Исследования Эйнштейна являются капитальным вложением в математику».

«Ядро еще намного не разрешено».

«Некоторые меня признают за сумасшедшего».

«Это правда, а не утверждение».

«Между мечом и атомной бомбой никакой разницы нет. Только мечом можно разmozжить одну голову, а атомной бомбой — численно больше».

«На драме я растрчиваю нервную энергию, но не отдыхаю».

Полковник К. был необыкновенно артистичен. Помню, мы как-то спросили его, как распространяется взрывная волна. Дело было в аудитории 16-14, в которой имеются расположенные друг напротив друга два больших окна. Не говоря ни слова, полковник подошел к одному из них и, плавно изгибая вытянутые руки и торс, на полусогнутых ногах дошел до противоположного окна. Мне никогда не приходилось видеть такой наглядной демонстрации колебательного движения!

Как-то у нас на занятии зашел разговор о прикладах и скрипках, выяснилось, что дерево для них заготавливают на одних и тех же

комбинатах. Но «наши скрипки, как правило, не играют», — заявил полковник, объяснив это тем обстоятельством, что хорошую сушеную древесину пускают прежде всего на приклады, а на скрипки уже ничего не остается.

«Но вот однажды, — стал рассказывать нам, сидя за своим столом, полковник, — один из директоров решил изменить этот порядок и попробовал пустить хорошую древесину на скрипки. И тут он почувствовал, что кресло из-под него уходит, уходит...» — произнося эти слова, К. приподнялся и стал медленно вытаскивать из-под себя стул. Мы, затаив дыхание, следили за манипуляциями полковника, но, к счастью, все обошлось без травм и, дорассказав историю, он не забыл вернуть стул в исходное положение. Что же касается несчастного директора фабрики, он-таки потерял свое кресло. Приклады — это вам не шутка!

К сожалению, карьера преподавателя для полковника К. внезапно оборвалась в 1968 году, когда, не разобравшись, что к чему, какая-то студенческая группа с того же химфака написала на него коллективную жалобу (может быть, как раз по поводу «купрум о два», не знаю), и полковник ушел из университета. А жаль!

Не зря на одной из парт в аудитории физфака я как-то прочел вырезанные перочинным ножом чеканные строки: глупее химиков только геологи!



Распределение



Еще задолго до окончания аспирантуры я определился с выбором будущей профессии, решив стать преподавателем математики в вузе. Я совершенно сознательно не хотел идти работать в какое-либо НИИ, руководствуясь при этом следующими двумя соображениями.

Во-первых, я считал, что работа, которая обычно составляет значительную, главную часть нашей жизни, должна быть осмысленной, т. е. приносить пользу, результат. Мне кажется, что даже тогда, когда об этом явно не говорят, подобная прагматическая суть вида деятельности очень важна для работающего. В противном случае неизбежно наступает душевный дискомфорт и всевозможные сублимации, что находит свое отражение в многочисленных анекдотах о занятиях «наукой» в отраслевых НИИ, о бесконечном бессмысленном тамошнем времяпрепровождении. У меня не было уверенности, что я найду себе в НИИ настоящее дело.

А полезность и необходимость преподавательской деятельности несомненна. Сознание, что рабочий день прошел не зря и ты сумел научить кого-то тому, что знаешь сам, да еще сделал это хорошо, наполняет твою повседневную жизнь смыслом и примиряет с теми мелкими неурядицами, с которыми связана подчас эта работа. Но что может быть полезней и благородней, чем преподавательская, учительская миссия, какое захватывающее зрелище видеть, как прорастают те ростки знаний, которые ты по крупицам шаг за шагом вкладываешь в благодарные студенческие головы! И даже если твоя собственная профессиональная математическая судьба не складывается, это уже не так страшно: ты все равно понимаешь, что нужен, приносишь пользу, и жизнь не тратится понапрасну.

Второе соображение, которым я руководствовался, состоит в том, что я искренне считал себя готовым к преподаванию и был уверен, что эта работа будет у меня складываться легко и удачно. И для этой уверенности у меня были следующие основания, связанные с моими школьными годами.

Дело в том, что, начиная где-то с третьего класса, у меня вдруг прорезался дар декламации. Помню, как я учил какое-то стихотворение про танкиста, когда мой отец, вслушавшись в мой заунывный речитатив, отложил книгу, которую в тот момент читал, и дал мне первый и единственный урок по этой теме. Надо сказать, что он обладал потрясающей дикцией, а праздничные парады, за организацию которых он отвечал, будучи командиром дивизии в Таллине, проводил на таком уровне, что дрожь пробегала по телу, когда он зычным, прекрасно модулированным голосом с тщательно отмеренными паузами командовал: «Пара-ад, смирна!»

Отец объяснил мне некоторые нехитрые премудрости искусства декламации, рассказал о необходимости уметь держать паузу, интонационно выделять смысловые значимые отрывки и на этом посчитал свою миссию оконченной. На следующий день я удостоился искренней учительской похвалы, и моя школьная карьера чтеца-декламатора началась.

Впоследствии я неоднократно участвовал в конкурсах чтецов самого разного уровня и однажды даже стал лауреатом республиканского конкурса Эстонии, был одно время (очень непродолжительное) юным диктором детского радио Таллина и как-то удостоился выступления во всесоюзной «Пионерской зорьке».

Но самым ответственным делом на этом внеклассном поприще для нас были так называемые монтажи, т. е. приветствия, которые на официальных мероприятиях юные школьники произносили со сцены в адрес своих старших товарищей.

Дело это было непростое, требовало максимальной четкости и слаженности и, главное, умения держать себя правильно на сцене, чувствуя аудиторию. До сих пор помню совершенно обескураживающее чувство пустоты и затерянности, которые я испытал, участвуя в приветствии одному из съездов компартии Эстонии. Дело происходило в громадном концертном зале, свет прожекторов слепил мне глаза, и зал представлялся сплошной черной ямой. И вдруг я почувствовал необыкновенную легкость и раскованность и понял, что знаю, как общаться с этим громадным пространством, заполненным людьми, так, чтобы они с интересом ловили каждое мое слово. В общем, ко мне пришло ощущение контакта с аудиторией.

Вскоре мы переехали в Калининград, моя карьера монтажиста закончилась, но навык общения с аудиторией остался на всю жизнь.

Причем чем аудитория больше, тем легче мне, совершенно не напрягаясь, войти с ней в контакт, при этом у меня всегда возникает чувство, родственное тому, что я испытал в далеком детстве в центральном концертном зале «Эстония».

Я полагал, что эти навыки помогут мне в преподавательской деятельности, и так оно и случилось: я до сих пор с громадным удовольствием вхожу в аудиторию и испытываю искреннюю радость и от общения с ней, и от самого процесса чтения лекции.

Итак, решение было принято, оставалось найти вуз, который бы мной заинтересовался, и таковых оказалось четыре: МФТИ, МИФИ, МИСиС и уже упоминавшаяся ранее Высшая школа пожарников. Я сделал выбор в пользу МФТИ, где на замечательной кафедре высшей математики провел 15 лет жизни, ставших для меня одними из самых счастливых.

Но это уже совсем другая история, о которой я обязательно напишу в следующий раз.



Воспоминания об интернате



Два года, проведенные в Физико-математической школе-интернате № 45 в Ленинграде, были одними из самых интересных в моей жизни и во многом определили не только мою профессиональную судьбу как математика, но и сформировали мой характер, отношение к жизни — все то, что обычно называют жизненными и нравственными ценностями. В школьной интернатской программе были алгебра, математический анализ, история, литература..., и нас очень хорошо учили всем этим наукам наши любимые учителя: Юрий Иосифович Ионин, Ефим Эммануилович Наймарк, Ирина Георгиевна Полубояринова и многие другие, которых я люблю и помню. Но кроме обязательной школьной жизни была еще и внешкольная, которая значила для нас ничуть не меньше. О некоторых эпизодах этой жизни мне и хотелось бы здесь рассказать.

Интернат в те годы находился в Ленинграде на улице Савушкина, за Черной речкой. До центра города можно было добраться за 30-45 минут, а это значит, что ленинградские музеи, театры, здание университета с его библиотекой были в пределах досягаемости. Зимой 1966 года каждую неделю нас водили на экскурсии в Эрмитаж. Вместе с прекрасным экскурсоводом (к сожалению, не помню ее имени) мы прошли почти всю выставленную тогда экспозицию современного искусства от картины к картине: от импрессионистов до Пикассо. Нам рассказывали об импрессионизме и пуантилизме на примерах картин Клода Моне и Поля Синьяка, о кубизме, о русских модернистах, о том, как научиться понимать современную живопись. И я ценю эти уроки ничуть не меньше уроков алгебры или анализа, потому что они познакомили меня с новым для меня миром, миром живописи.

Мне вообще кажется, что 14-15-летнему человеку иногда необходимо всего лишь узнать (увидеть, услышать или прочитать) о существовании какого-то нового незнакомого ему мира, будь это мир

Эта глава впервые опубликована на английском языке в переводе А. Б. Сосинского в книге «Mathematics in St. Petersburg» (AMS, 1996. P. 1—5), затем на русском в журнале «Ленинградский Университет», 1999.

современной живописи, поэзии или, скажем, китайской литературы. Причем услышать от «источника, заслуживающего доверия», например, от любимого учителя. Так на уроке литературы я узнал от Ирины Георгиевны о существовании Большого драматического театра и о Г.А. Товстоногове. Мне удалось достать билеты на его спектакль по «Идиоту» Ф. М. Достоевского с гениальным Иннокентием Смоктуновским в роли князя Мышкина, и я до сих пор считаю этот спектакль лучшим из всех когда-либо виденных мною. С тех пор я «заболел» театром и уже в Москве, будучи студентом МГУ, пересмотрел все спектакли «Современника», театра на Таганке, театра Образцова. Не пропускал я и ни одной премьеры А. Эфроса в театре на Малой Бронной.

В том, как много значит мнение учителя, как он одной сказанной невзначай фразой может оказать влияние на формирование мировоззрения своих учеников, я неоднократно убеждался впоследствии, когда уже сам (на пятом курсе университета) преподавал математический анализ в 7-й московской школе. Приведу только один связанный с этим пример. Как-то, рассказывая десятиклассникам теорему о мощности множества непрерывных на отрезке функций, я заметил, что один из моих учеников читает постороннюю литературу. Меня возмутил даже не столько сам факт чтения, сколько то, что он читал. А читал он не Хлебникова, Булгакова или, скажем, А. Белого, что я еще мог бы простить, а одного совершенно ничемного с моей точки зрения писателя. Я отобрал у него эту книгу и взамен дал единственную, которая тогда нашлась в моем портфеле, — томик стихов одного из самых любимых моих поэтов, Тао Юань-мина. Я бы, наверное, забыл об этом случае, если бы через несколько лет мои бывшие ученики не пригласили меня на традиционную встречу своего класса. Большинство из них к тому времени училось на различных факультетах МГУ, МФТИ и в других известных московских вузах. В конце вечера ко мне подошел тот самый ученик и спросил, помню ли я историю с томиком стихов Тао Цяня и представляю ли я, какое влияние это оказало на его жизнь? Оказалось, что он настолько увлекся китайской поэзией, что после поступления на биофак МГУ организовал там нечто вроде общества любителей классической китайской литературы и стал настоящим ее знатоком! Этот случай поразил меня, и с тех пор во время лекций или семинарских занятий я всегда стараюсь найти время

для того, чтобы сказать своим студентам хотя бы несколько слов об интересной выставке, книге или увиденной мною театральной постановке.

В нашем интернате были не только математические классы, но и химический с биологическим, в котором учился сын Аркадия Исааковича Райкина. Я не знаю, собирался ли Костя Райкин всерьез заниматься биологией после окончания школы, но способности к этому у него, безусловно, были. Однако яркая артистическая одаренность оказалась сильнее, и Костя поступил после окончания интерната в театральное училище. Сейчас он известный актер театра и кино, руководит московским театром «Сатирикон». Но и тогда, в 9-10 классах, он порой поражал нас своей пластикой и умением даже самые серьезные вещи превращать в игру. Так, на выпускном экзамене по математике ему достался вопрос о десятичной записи вещественного числа. В составе экзаменационной комиссии были члены попечительского совета интерната, известные математики, среди них был знаменитый алгебраист Д. К. Фаддеев. Во время ответа Кости он о чем-то заговорился с остальными, и комиссия потеряла бдительность, чем немедленно воспользовался Костя. Он начал свой ответ примерно так: «Пусть число a лежит на отрезке $[0, 1]$. Разделим его на десять равных частей и рассмотрим ту часть, в которой лежит наше число. Разделим полученный отрезок на десять частей и вновь рассмотрим ту часть, в которой лежит $a...$ » Обычно в этом месте говорят: «и т. д.», а затем заканчивают доказательство. Однако Костя монотонным голосом с мягкими веселыми модуляциями продолжал делить все меньшие и меньшие отрезки к всеобщей тихой радости сидящих в классе выпускников. Наконец, когда Костя добрался до отрезков размером с диаметр атомного ядра, комиссия обратила внимание на подозрительную тишину в классе и воззрилась на доску. Последовала пауза, после которой Д. К. Фаддеев сказал, что получено достаточное количество знаков после запятой и процесс деления можно прекратить. Больше Костю ни о чем не спрашивали, и он успешно сдал экзамен.

У нас в школе часто устраивались литературные вечера, на которые приглашались известные артисты, самодеятельные поэты и певцы. Причем дело не ограничивалось простым выступлением. После концерта обычно возникали стихийные дискуссии, на ко-

торых обсуждались самые разные вещи, начиная от современной советской поэзии и кончая положением в Алжире. Безусловно, самым запоминающимся из таких вечеров был вечер Аркадия Райкина. Школьный актовый зал был забит до отказа, а Райкин в течение полутора часов показывал нам свои самые лучшие вещи, включая те, с которыми в то время ему не разрешалось выступать в официальных концертах. Тогда я впервые услышал про «генетику — продажную девку империализма», про «наш паралич — самый прогрессивный в мире» и про многое другое, ставшее впоследствии классикой советской эстрады.

Нет ничего удивительного в том, что в физико-математической школе в середине 60-х годов многие увлекались поэзией и сами писали стихи. В то время профессия физика была необычайно престижной, конкурсы в ведущие технические вузы и университеты страны были громадные, и большинство одаренных молодых людей, имеющих способности ко многим (в том числе и гуманитарным) наукам, выбирали математику или физику. Но и гуманитарные способности требовали выхода, поэтому, наверное, каждый второй в нашей школе писал стихи.

Пик этой поэтической активности пришелся на зиму 1966 года, и тогда же произошли два связанных с этим любопытных события. Первому предшествовало вывешивание в школе большой стенгазеты со стихами наших интернатских поэтов, второму — появление в школьном общежитии самостоятельных литературных журналов. Появился такой журнал и в нашей комнате, старостой которой был Витя Томс (поэтому комната наша носила название «Хижина дяди Томса»). Назывался этот журнал (редактором и единственным членом редколлегии которого был я сам) по-простому: «Тихий омут», и в первом его номере были помещены стихи почти всех без исключения моих товарищей по комнате. Надо сказать, что для многих из них этот литературный опыт был первым в их жизни, и может быть поэтому печальная, а временами и не очень нормативная лексика нашего журнала несколько контрастировала с оптимистическим вариантом, вывешенным в школе. В этом не было ничего странного или неискреннего, просто два этих издания описывали две разные стороны нашей интернатской жизни, в которой были как свои радостные, так и печальные моменты. Закончив оформление журнала, мы благоразумно прикрепили его кнопками к обратной стороне

дверцы платяного шкафа, стоявшего в нашей комнате, и пошли на занятия.

Надо же было так случиться, что именно в этот день с инспекционной поездкой в наш интернат приехал министр просвещения РСФСР (в этом состояло первое из упомянутых выше событий). Министру показали школу, физическую лабораторию, сводили на урок в один из классов, показали нашу стенгазету со стихами, а затем повели в общежитие. До сих пор не знаю, как это могло произойти, но, войдя в общежитие, министр немедленно направился в нашу комнату, затем открыл дверцу шкафа, снял с кнопок наш журнал, бегло просмотрел его и, сказав что-то вроде: «Вот что у вас тут на самом деле делается», отбыл в Москву. Мы в это время находились на уроке, но «хорошие новости распространяются быстро», и когда мы, понутив головы, вернулись к себе в общежитие, настроение у нас было хуже некуда.

Дело было даже не в том, что мы чувствовали себя виноватыми и боялись наказания. Мы понимали, как мы подвели своих учителей и интернат в целом, ведь было известно, что министр являлся одним из основных противников всякого рода специализированных математических школ и интернатов, поскольку, на его взгляд, само их существование нарушало принцип социальной справедливости. Так что одним из последствий произошедшего могло быть и прекращение приема в интернат с последующим его закрытием. И вот тут произошло событие, которое я до сих пор не могу забыть.

К нам в комнату пришли наши учителя, которым, наверное, уже досталось от школьного и районного начальства за то, что произошло. Но они не стали нас ругать или наказывать и вообще не высказали ни одного слова упрека в наш адрес. Они сказали, что пришли извиниться за поведение некоторых взрослых, не понимающих современной поэзии, и попросили не держать на таких людей зла, добавив, что в будущем нам часто придется встречаться с людьми, просто не способными понять какие-то вещи, и что это не должно быть основанием для обиды на них. И еще они попросили нас не бросать писать стихи и пригласили на вечер-конкурс школьных поэтов, который должен был вскоре состояться в интернате. В этот день мы получили урок по предмету, которого нет в сетке школьного расписания, но который мы запомнили на всю жизнь.

Выпускные экзамены в школе — особая пора. Последним и самым трудным из них для нашего класса был экзамен по физике. Дело в том, что в нашем классе собрались очень сильные математики: несколько победителей Всероссийской олимпиады, победители Ленинградской городской олимпиады и один будущий победитель Международной математической олимпиады — Витя Турчанинов (в настоящее время блестящий программист). С физикой же дело обстояло хуже — только один победитель Всероссийской олимпиады по физике — Боря Ровнер. Почему-то наши учителя физики считали, что мы недостаточно хорошо относимся к их предмету, и решили проэкзаменовать нас с пристрастием. Перед началом экзамена они объявили, что будут спрашивать нас очень жестко и поставят нам две оценки: официальную и неофициальную, но такую, какую мы получили бы при поступлении в ЛГУ при самом недоброжелательном пристрастном опросе. Мотивировалось все это необходимостью потренироваться перед вступительными экзаменами в университет.

Подобная преамбула меня совершенно не испугала: я был тогда одним из главных претендентов на золотую медаль, всегда легко сдавал экзамены и не боялся их. Но я до сих пор с некоторым содроганием вспоминаю последовавший затем кошмар. Я очень хорошо начал отвечать, полностью рассказав вопрос билета и решив задачу. Но уже первая дополнительная задача испортила мне настроение. Меня спросили, по какой траектории полетит брошенный с поверхности Земли камень в случае отсутствия атмосферы, и я тут же ответил: «По параболе». На что мне вежливо объяснили, что мой ответ неверен и что камень полетит по дуге эллипса (поскольку в условии не было сказано, что Землю можно считать плоской). И так далее. Не помню всех заданных мне вопросов, на какие-то из них я отвечал правильно, на какие-то — с точки зрения экзаменатора — нет. Помню только последний из них, который добил меня (и экзаменатора). Меня спросили, что происходит с веревочным контуром, в который периодически вставляют и вынимают магнит. Что-то забрезжило в моей уже ничего не соображающей голове (что-то вроде того, что по инструкции техники безопасности нельзя влажными руками касаться электрической проводки), и я сказал, что если влажность воздуха высока, то по веревке может потечь слабый ток. «С каких это пор великие законы физики зависят от влажности воз-

духа!» — буквально взревел мой мучитель, и экзамен на этом закончился. Я получил 5/4—, и когда экзаменатор немного остыл, узнал, что, оказывается, в веревке произойдет поляризация. В общем, все закончилось благополучно, но я с тех пор немного недолюбливаю физику.

Сейчас интернат находится в другом месте, за городом, ближе к новому зданию университета. Но каждый раз, приезжая в Санкт-Петербург (что, к сожалению, бывает нечасто), я сажусь в 80-й автобус и еду за Черную речку, на улицу Савушкина, 61.



Стихи



Тополиный пух

Белые хлопья пуха.
Время огням потухнуть.

Нежная вьюга лета.
Где-то морозы, где-то

Кутают в шаль подругу.
Нежная лета вьюга,

Ты мне щекочешь кожу!
Как ощущения схожи:

Так же ласкает локон,
И из пушинок соткан

Взгляд твой, глаза, ресницы.
Снова мне будешь сниться

Маленькой Белоснежкой
В летнюю вьюгу нежную.

13-15-19.06.1970

Плющево

Вечерние облака

По небу плывут отпечатки столетий,
А время — летнее, а воздух — летний,
А век — двадцатый, но надо ж случиться:
Плывут рептилии, первоптицы.
Наверно, в зеркале небосвода
Себя рассматривает природа
И хочет сгладить морщины столетий,
Ведь время — летнее, ведь воздух — летний!

Но видно — осень. Но скоро осень.
Наверно, это она наносит
Узоры древних воспоминаний
На небосвода тугие ткани.

13.08.1971

Баку

* * *

Легкий танец пурги,
Круги
Ошалевшей со сна метели.
Поцелуи твои на теле
Обжигающие — легки.

Поцелуи твои — холодны,
Поцелуи твои растают,
Словно снежных пушинок стая,
Отойдут, переселятся в сны.

Сны приснятся — все опресняется —
Только раз я твоё дыхание
Уловлю в этих снах; пасхальной
Им весны не видать: проясняется
На душе ни рано, ни поздно.
А пока что — морозный воздух,
А пока — только танец вьюги
На лице твоём, на ресницах.
Это кончится, прояснится,
Снова станет воздух упругим,
Опьяняющим — как всегда.

И пойдут дни за днями, года
Друг за другом засемят.
Только это все без меня.

16.10.1971

ВГБИЛ

Осень (сонет)

Стон осени еще в ушах стоит.
Он был сначала стаей журавлиной.
Вонзаясь в небо журавлиным клином,
Он был, казалось, с этой стаей слит.

Затем он лег на сырость темных плит
Листвой опавшей на асфальт Неглинной.
И резкий крик сменился нотой длинной,
В которой крик не кончился, но спит.

И с чистой нотой тихого страданья
Осеннее природы увяданье
Напоминало погружение в сон.

Но сон звучал, и я в изнеможеньи
Избавиться хотел от наважденья.
Но время шло, и не кончался он.

28.11.1971

Покровка

* * *

Грусть рябая —
Гроздь рябины.
Значит, осень.
Значит, в спины
Шепот листьев — богомол.
Значит, холод.
Холод колод,
Холод тысячью иголок
Руки жалит.
Ветер сносит.
Значит, осень.
Сердце сжали
Темные веревки просек —
Осень.

28.11.1971

Покровка

* * *

Все плыло и качалось, и сам старый год,
Отражаясь в зернистых икринках канала,
Уплывал и качался, и времени плот
Ударяло о дни, о секунды трепало.

Все плыло и качалось в кривых зеркалах,
Уходящего года смещались понятия;
И фигурки влюбленных на темных углах
Превращались в кровавого цвета распятья.

Все плыло и качалось, и времени ход
Подтверждал неизбежность такого финала,
Отражаясь в зернистых икринках канала,
Как разбитый, истрепанный бурями плот.

26.01.1972

Москва

Весна (сонет)

Такая тихая весна.
И даже музыка капли
Меня волнует еле-еле,
Сквозь сон едва-едва слышна.

Грудная клетка не тесна,
И беспричинное веселье
Не бьется теплой жилкой в теле —
Моя душа во власти сна.

Во власти долгой зимней спячки
Увяли чувства и мечты —
Они в руках у нищеты.

Моля у разума подачки,
Они то пляшут, как собачки,
То тянут жалкие персты.

14.03.1972

Покровка, Новая

Крыша

Рыжая, ржавая крыша

Видом не вышла.

Кто посещает старую крышу?

Птицы да мыши.

Был и у крыши

Солнечный блеск,

Да весь вышел.

Новые крыши

Красивей, стройней, выше.

Вечером с крыши

Кошачий концерт слышен.

Слушает старая крыша

И чуть дышит.

И засыпает под крики котов крыша,

Диких, облезлых и точно таких же рыжих.

15.10.1972

Покровка

Осень

Пора листопада.

Не надо ступать

Подошвою грубой по листьям,

Не надо,

Смеясь, нарушать тишину листопада

И эхо тревожить опять и опять.

Пусть чуть шелестит, тихо жалуясь, прядь

Усталой березы, пусть чувство утраты

На миг овладеет тобою, не надо

В смятении поспешном его прогонять.

О чем эта боль? Нет, тебе не понять.

Казалось, всего на одно лишь мгновенье

Ты слился душою с душою растенья,

Но боль прицепилась, ее не унять.

И тихо бредя вдоль разбухшего устья,
Ее окрестишь ты «осеннею грустью».

1.12.1972

Некрасовка

Летний дождь (сонет)

Сначала вздрогнет и заплачет,
Чего-то испугавшись, ива;
И дождь пригоршней чернослива
Запустит в маленькую дачу.

Затем, чуть подождав, проскачет
Скороговоркой, торопливо,
Веселый и нетерпеливый
Полк первых пропыленных капель.

И только после, в вышине
Разрежет молнией полнеба,
Пригнет к протопленной земле
Намокшие колосья хлеба.

И ливень, нудный и унылый,
Запричитает с новой силой.

25.02.1974

Новая

* * *

Здесь зелень до небес.
Здесь часто по утрам,
Запутавшись в непроходимой чаще
Дремучих зарослей из клевера и трав,
Израненное солнце тихо плачет.

И капельки росы — лишь пот смахнет палач —
Ложатся на траву, на лезвия осоки
Под похоронный комариный плач,
Под солнца обескровленного вздохи.

Май 1974

ВГБИЛ

* * *

И твердишь ты мне раз за разом
Все одно и то же: что «разум
И любовь» — это только фраза,
Что любовь — это просто проза,
И глядишь на меня с вопросом
В своих синих с отливом росным.
В твоих синих с отливом пресный
И ненужный мой мир надтреснут.
Все в одном, одном твоём взгляде,
Взгляде юном, порочном взгляде!
Губы в модной блестят помаде,
И пальто по последней моде.
Твое тело желанье сводит,
В твоих синих усмешка бродит,
И стоишь, как в гриппозном бреде,
У порога своей передней.
Мир свернулся, зарылся в платье,
Лег клубком у твоей кровати,
Как собака в ночной дремоте,
Взвыв на ржавой протяжной ноте.
И опять ты мне раз за разом
Об одном и том же, что «разум
И любовь» — это только фраза,
Что любовь — это просто проза,
И глядишь на меня с вопросом.

11.10.1970

Покровка

Сонет

Мне лень мила, мы с ней накоротке,
Я коротаю с ленью дни и ночи,
И мне милее леньость многоточий,
Чем бойкость точек в стиснутой руке.
У времени на жестком поводке,
Как часто убеждаешься воочью,
Что даже леньость стихотворных строчек —
Иллюзия, постройка на песке.

Но я люблю песчаные строенья!
Они сродни моим стихотвореньям.
Сегодня есть, а завтра — наплевать!

Мне лень возиться с одой, триолетом,
Я связан с ленью, стало быть, с сонетом.
И не покину мягкую кровать!

Море

Когда кипящею струей
На море ляжет позолота,
Из поднебесного киота
Уходит солнце на покой,

Когда созвучна с тишиной
Луны тоскующая нота,
Земля рукою Дон-Кихота
Преображает облик твой.

О, если б морю сохранить
И эту золотую нить,
И толстые седые пряди

В своем языческом наряде,
И в брачном утреннем обряде
Ночные звезды утопить.

4.08.1971

Махинджаури

Одна печальная история

Тонкое чувство ритма
Дано ему от природы.
И молодость, звонкость рифмы,
Изящные повороты
Стиха сберегли б от рифов,
Когда б ни служебных грифов,
Ни скрепок водовороты.
И он ушел в Бегемоты.
На дне большого болота
Друзья нашлись и подружки.
И как-то, сострив, за кружкой
(Обидев при том кого-то),
Был прозван одной лягушкой
За цепкость и злость Андрюшкой.

6.04.1971
МГУ

На смерть Берлиоза

Мне не забыть этот тягостный день:
Шпалы в подсолнечном масле,
Злая упала трамвая тень,
И фары его погасли.

04.1970
МГУ

Смерть Берлиоза

Правая рука — хрясь!
Левая рука — хрясь!
Голова Берлиоза — в грязь!
Ужас.

Тут и Аннушка с маслом,
И Бездомный с Пегасом,
И рабочая масса
В блузах.

Не дожил к Первомаю,
Переехан трамваем.
Мы с Коровьевым знаем:
Воланд.

Хулиган с портсигаром,
Рукоять до упору,
Смотрят очи с укором —
Поздно.

Правая рука — хрясь!
Левая рука — хрясь!
Голова Берлиоза — в грязь!
Ужас.

04.1970
МГУ

Приморский бульвар

Баку хорош вечернею порой,
Когда спадает августовский зной,
Когда огней цветная вереница
Преображает ночь, преображает лица.

О, как тебе идет ночной покроем,
Редеющий автобукашек рой,
Прожекторов светящиеся спицы
На разноцветной водной черепице.

Каких несостоявшихся наяд
Скрывает твой таинственный наряд?

Но скоро утро, и белесой ватой
Сменилась ночь, и жестким ароматом,
Бакинским запахом очередного дня
Упало с моря утро на меня.

13, 15.08.1971
Баку

Эпиграмма

Когда захочешь чувствовать себя
На положенье муравья,
Быть винтиком в могучей колеснице,
Не нужно в прошлое переноситься.
Достаточно пойти в военкомат,
И муравейник будет очень рад.

18.08.1971

Покровка

⟨Два сонета сонету⟩

Сонет влечет меня своею красотой,
Своею первозданною природой,
Где первых строчек медленные воды
К озерам слов приходят на постой.

А озеро подернуто слюдой
Красивых фраз, но ветреной погодой
Слюда крошится, обнажая броды
И омуты с бездонной глубиной.

А в омутах созвездья лучших мыслей,
Как цепь икринок, на строках повисли,
А в омутах чем глубже, тем темней.

Там темные провалы подсознания,
Там образы и мысли без названья,
Могилы слов и отзвуки теней.

22.11.1971

Покровка, ВГБИЛ

* * *

Сонет похож на аромат цветка.
Волнообразно аромат струится,
С порывом ветра обжигая лица.
Неполных строф четыре лепестка,

Тычинки рифм не опадут, пока,
Заковано в пожизненной темнице,
Поэта сердце не устанет биться.
Но жизнь поэта слишком коротка.

Но жизнь поэзии, как время, бесконечна.
Поэзия была и будет вечно.
Освобождаясь от земных теней,

Она четыре лепестка сонета
К последнему пристанищу поэта
С печалью затаенной принесет.

22.11.1971

ВГБИЛ

Юрмальский цикл

* * *

Сосен суставы
Скрипят, как ставни,
Как старый поезд
На полустанке.
Скрипят-поскрипывают
Не так, как скрипка,
Скорей, как галька,
Не музыкально.
Скрипят-поскрипывают,
И в скрипе сосен
Нас вместе с ними
По ветру носит.
В такт скрипу — плавно,
Как в колыбели;
Глаза от неба
Поголубели,
Поголубели от неба лица,
В такт скрипу сосен
Запели птицы,
В такт скрипу — медленно
И ритмично;
Смешав с прибором
Напевы птичьи,
Проносит ветер
С сосною вместе
Меня по летнему
Поднебесью.

13.07.1973

Лиелупе

Ветер

То он трется щекою о ствол сосны,
Как котенок, играет среди листвы,
То, ломая сухие сучья,
Бьется в судорогах падучей.

Как он нежен, приветлив, как боязлив,
Как он гладит шершавой рукой залив,
Как ласкает ржаные ости.
Как он страшен в припадке злости!

А приходит похмелье или тоска —
Он угрюмо играет среди песка,
Создавая за смерчем смерчи,
Насторожен и недоверчив.

20.07.1973

Лиелупе

Небо

О, если б дотянуться до тебя,
Не ночью, а в разгар такого дня.
И неумело, по-щенячьи лапаясь,
Вдруг захлебнуться от наплыва счастья!

Дай раствориться в этой синеве,
Смешаться с ветром и сосновой хвоей,
Чтоб пропитаться жарким летним зноем,
Чтоб капельки смолы стекали с век.

И если бы войти в сосновый ствол
И, отряхая треснувшие сучья,
Вдыхая кроной свежесть летней тучи,
Понять, постигнуть лета волшебство!

Дай хоть притронуться к твоим рукам,
Ты снова их протягиваешь к нам,
Чтоб обласкать весь мир от Юрмалы до Капри!
Асфальт дробит их в дождевые капли.

27.07.1973

Лиелупе

Закат

Вечером с солнечных лепестков
В море, как золотые слитки,
Падают солнечные улитки.

Дождь из улиток!
Воды покров
От них пузырится в местах ожогов,
Нежен и шелков.

Улитки тихо идут на дно,
Тускнеют раковинок скорлупки,
Тонки и хрупки.

А море — двухсторонний наждак
С голубовато-прозрачной начинкой —
Перетирает их на песчинки.

27.07.1973

Лиелупе

* * *

Сыграй мне, шмель, на арфе паутинок,
На струнах легких, как осенний пух.
Их протирает каплями росинок
Паук-настройщик, сумрачный, как инок,
Любитель музыки и толстых мух.

Сыграй мне, шмель, на память песню лета,
И пусть танцуют солнца огоньки
На паутинках, словно мотыльки;
Пусть в хороводе зелени и веток
Танцует небо, полное креветок,
Соленых брызг и запахов пеньки!

Пусть солнце, ошалев от этой пляски,
Покинув сосен шумный хоровод,
Губами жадно к морю припадет
В неудержимой, безысходной ласке!

Плеснув на небосвод струею алой краски.

18.08.1973

Лиелупе

* * *

Люблю черничное варенье,
Оно напоминает лето:
Чуть ложку съешь — и вдохновенье
Охватывает поэта.

Вторую съешь — возникнут сосны,
Тропинка, шишки под ногами,
И летний жар, такой несносный, —
(И вроде год не високосный) —
И море в резком птичьем гаме.

За третьей ложкой перестанешь
Смотреть на хлеб, на чай в стакане,
Ты снова с нею на причале,
И катерок вот-вот отчалит.

Ты прыгаешь, ты машешь ложкой,
Облизывая в волненьи
Пустую банку, блюдце, крошки,
Еще чуть-чуть, еще немножко,
Еще хоть капельку варенья!

Чтоб дописать стихотворенье.

13.07.1973

Лиелупе

Август в Юрмале

Истончаются в августе стекла окон.
Прячется солнце в стеклянный кокон.
И по ночам из низин, отдушин
Выползают на берег личинки стужи.

Истончаются в августе стекла окон.
Наливаются ягоды сладким соком;
Но похрустывают среди ночи лужи —
И трепещут растений живые души.

Истончаются в августе стекла окон.
Стрекоза, залетевшая ненароком,
Разрезает небесную синь алмазом,
День за днем истончаясь и раз за разом.

22.08.1974

Лиелупе

Закат

Черные руки сосен,
Протянутые к закату,
Хотят украсить грудь леса
Колье золотого цвета.

Блестит на шее заката
Колье золотого цвета,
Но к соснам бежит дорожка,
Кипящую позолотой.

Закат беспечней ребенка!
Колье, соскользнув, упало.
Колье, упав, проскользнуло
Мимо сосен беспалых.

Пытаясь своею тенью
Остановить паденье,
Лес наклонился к морю
Черною головою.

Но все, что осталось лесу, —
Плачу внимать заката,
Роняющему на море
Слезы медного цвета.

16.08.1974

Лиелупе

Философский портрет Н. О.

Эпикурейский оптимизм
И невоздержанность Платона,
Альбом любовниц на два тома
И обстоятельный лиризм.

В делах любви позитивизм
И точка зрения Зенона
На страсть как на источник стона,
И обаятельный цинизм.

Спиноза в сексуальном смысле:
«Желание — источник мысли,
Разумное — инстинктов след.

Соитие — предел желанья,
Вершина разума, познания.
И выше, значит, счастья нет».

18.06.1972

Некрасовка

Осень

Когда радость жизни идет на убыль,
и деревья начинают задумываться о смерти, —
приходит осень — религиозная фанатичка
с требником в руках.

Она напяливает на притихшие деревья
золотую поповскую рясу, —
и толпы унылых священнослужителей
заполняют рощи и перелески.

Их монотонные молитвы, перемежаемые
стоном и плачем, день за днем
птичьими стаями уносятся к небу.

Толпы страждущих.
Но только осина и ясень стоят великомучениками.
Их — канонизировали.

5.09.1974

Рига

* * *

В такие сквозные дни,
Когда обмороженный воздух
Стекается ближе к небу,
Когда пустота бестелесна
И кажется — слов не услышать,
Кричать и не докричаться;
В такие прозрачные дни
Приходит морозная легкость
На смену летним химерам,
Высвечивая в предметах
Сквозь шелуху наслоений
Ясность, структуру кристалла.

4.10.1974

ВГБИЛ

Обрывки мыслей (поэтических)

Осень прошла незаметно,
так, как будто ее и не было.

Я перестаю различать времена года.

Не все, конечно.

Зиму и лето пока не путаю.

Зимой уютно дома, летом — на улице.

Зимой яркое солнце еще невыносимей,
чем летом — оно приносит мороз — до рези в глазах.

Но зато зимний вечер приносит
тепло падающих снежинок, а летний
комариную сырость оврагов и низин,
от которой поеживаются и закрывают окна.

Летняя ночь — предчувствие сырой зимы
с дождем и снегом напополам.

Акросонет

Безумен я, не скрою,
Особенно весною.
Ложится зелень на поля,
И вместе с ней душа моя
Безумствует порою.
Расплескивая влагу снов,
Уходят мысли в стан врагов,
Храня равненье, строим.

А после них в душе разброд:
Надежда переходит вброд
Дороги подсознания.
Рассудок прячется в тоске,
Ершистый, хилый, как аскет,
И плачется сознание.

20.10.1974

ВГБИЛ

* * *

Написано в ожидании отложенного рейса
№ 2091 от 25.07.73

Ты, отрешившись от забот,
Летишь по небу, словно птица,
И радуга в окно стучится;
Да здравствует Аэрофлот!

Мотор стучит? Не первый год.
У пассажиров вянут лица.
Ого, еще не то случится!
Да здравствует Аэрофлот!

Но отчего дрожит пилот?
Рука радиста-великана
В ознобе тянется к стакану.
Да здравствует Аэрофлот!

Опять какой-то идиот
Налил в закрылки купороса.
Горючее? Какая проза!
Да здравствует Аэрофлот!

Бывает, вдруг не повезет:
Два, три, четыре самолета
Не возвратятся из полета.
Не по вине Аэрофлота,
А по твоей вине, Природа,
Из-за тебя, небесный свод.
Да здравствует Аэрофлот!

25.12.1973

Москва, аэровокзал

Л. Б.

Мне легче тебя не видеть,
Чем видеть и не коснуться
Губами твоих ладоней,
Наполненных скрытой лаской,
Наполненных ожиданием
Пугливым и сладострастным.
Но ты разжимаешь пальцы —
Не мне суждено напиться —
Но ты разжимаешь пальцы,
И влага твоих желаний
Серебряной тонкой нитью
Стекает на лак паркета.

Не мне суждено напиться
Из теплых твоих ладоней.

* * *

НИИВС им. Мечникова

Ваши предки, наши предки
На одной качались ветке.
Кто затем спустился в клетки,
Кто в НИИ на табуретки.

Мы теперь, прищулив глаз,
Мучаем своих собратьев.
И грызут решеток прутья
Слезшие чуть позже нас.

Вы в Сухуми на посту
Рядом с братьями от века.
Мы в Москве, покрытой снегом,
Держим марку человека —
Мечниковский институт.

31.08.1977

3-я Владимирская

Душа (сонет)

Зачем она тебе? На вид она суха,
На запах — чуть смердит, пропахла нафталином.
В ней перемешано развратное с невинным,
С порочным — добродетели труха.

Ни хороша и, в общем, ни плоха,
Она сегодня этой ночью длинной
Пришла к тебе в смирении с повинной,
Прикрывшись индულгенцией стиха.

Оставь ее в живых, уйти ей разреши,
Мне не до шуток — быть бы только живу.
Оставь другой волчице на разживу
Хоть часть тобой израненной души!

А впрочем, мне и это не поможет.
Оставишь ты — ее тоска заглохнет.

5.12.1979

улица Руставели

* * *

Черные страшные вороны ночи
Душу мою разрывают на клочья.
Туши овечьи, шкуры овечьи,
Воеет по-волчьи душа человечесья.

Как ей сегодня в ночи одиноко!
Душ человеческих, о, как их немного!
Бродят по-волчьи вдали друг от друга
Темною ночью, вечно по кругу.

Травят их черные вороны ночи.
Всех же больнее — ну просто нет мочи! —
Травит волчица, родная по крови,
Черные волосы, черные брови,
Взгляд человеческий, тоска человечесья,
Так отчего же когтями, как кричит,
Душу мою разрывает на клочья
Злая волчица темною ночью?!

Нету страшнее тоски человеческой!
Волчья душа моя в шкуре овечьей.

5.12.1979. 2 часа ночи
улица Руставели

* * *

Бьет осенний дождь по поленнице.
Мама ленится, папа ленится,
И красавица-дочь, как пленница,
Все забыться хочет, рассеяться.
Бросит в окна взгляд — но имеется
Только чахлых четыре деревца.
У последнего, как у ленинца,
Красный листик на шее треплется,
У последнего — серый цвет лица.

И уже ни во что не верится:
Зимы, вёсны — все сплошь нелепица.

А падению капель все нет конца.

21.03.1977

улица Руставели

Н. М.

Сонет

Не надо, не смотри в упор.
Твои зрочки буравят душу,
И я опять, как мальчик, трушу,
Читая в них немой укор.

Я не убийца и не вор,
Я в меру зол и в меру скучен.
Да будет суд великодушен!
Пусть будет мягок приговор.

Но ты отводишь строгий взгляд.
Ты говоришь мне: «Все в порядке».
«Еще не вышло разнарядки», —
Твои глаза мне говорят.

«Но час придет — тебя казнят
Огнем любовной лихорадки!»

21.03.1979

улица Руставели

Акростих

Сегодня снова Рождество!

На наше с вами торжество
Оно приходит в Долгопрудный
Веселой елкой изумрудной,
Искрясь весельем, волшебством.
Мы любим этот праздник чудный!

Готова радость новых встреч,
Он помогает нам сберечь
Дух дружбы, и скажу без лести:
О чем, как говорится, речь!
Мы все сегодня снова вместе!

3.01.1985

Юж. Измайлово



Велимир Хлебников



Эта небольшая заметка¹ — признание в любви. Любви к одному из самых удивительных и необычных российских поэтов, Велимиру Хлебникову.

Так случилось, что первым стихотворением Хлебникова, которое я прочитал, было знаменитое «Усадьба ночью, чингисхань!»:

Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И, сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью, облако, роопсь!
Но смерч улыбок пролетел лишь,
Когтями криков хохоча,
Тогда я видел палача
И озирал ночную смел тишь.
И вас я вызвал смелоликих,
Вернул утопленниц из рек.
«Их незабудка громче крика», —
Ночному парусу изрек.
Еще плеснула сутки ось,
Идет вечерняя громада.
Мне снилась девушка-лосось
В волнах ночного водопада.
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся — Батья,
Идут слова — молчаний Каины, —
И эти падают, святые.
И тяжелой походкой на каменный бал
С дружиною шел голубой Газдрубал.

Меня поразило в этом стихотворении все: и удивительный прием «оглаголивания» имен собственных, и ни на что не похожие ме-

¹ Написанная в 1985 году к 100-летию со дня рождения поэта.

тафоры («слова — молчаний Каины»), и необычные завораживающие образы («девушка-лосось в волнах ночного водопада»).

Короче говоря, в этот день я «заболел» Хлебниковым.

Хлебникова считают очень трудным для восприятия поэтом. Мне повезло, я начал чтение его стихов с произведений, в которых языковые эксперименты Хлебникова носят заверченный характер и не создают того труднопреодолимого барьера, который нередко возникает при чтении его ранних стихотворений.

Для меня до сих пор одним из непревзойденных образцов любовной лирики является следующий отрывок из стихотворения Хлебникова:

Темной славы головня,
Не пустой и не постылый,
Но усталый и остылый,
Я сию. Согрей меня.
На утесе моих плеч
Пусть лицо не шелохнется,
Но пусть рук поющих речь
Слуха рук моих коснется.

В этом стихотворении обычно скрытый от непосвященных поэтический мир Хлебникова, как золотоносная жила, выходит на поверхность, отодвигая на второй план присущую Хлебникову виртуозность владения языком. Ее как бы не замечаешь, настолько органично тонкая словесная инструментовка («не пустой и не постылый, но усталый и остылый») вплетается в ткань стихотворения. Несколько иную функциональную нагрузку несет этот прием в поэме «Уструг Разина».

Волге долго не молчитсЯ.
Ей ворчитсЯ, как волчице.
Волны Волги — точно волки,
Ветер бешеной погоды.
ВьетсЯ шелковый лоскут.
И у Волги у голодной
Слюни голода текут.

Здесь характерная для Хлебникова рифмовка сходных по звучанию, но разнящихся по значению слов усиливает динамизм и создает ощущение приближения трагической развязки (смерть княжны

от руки Разина). Приведу еще два отрывка из той же поэмы, связанных с описанием Степана Разина.

Где пучина, для почина
Силу бурь удесятеря,
Волги синяя овчина
На плечах богатыря.
Он стоит полунагой,
Горит пояса насечка,
И железное колечко
Опускается серьгой.

А отец свободы дикой
На парчовой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилась рублем.

Велимир Хлебников первым ввел в употребление так называемую рифму-диссонанс, при которой каркас слова, состоящий из согласных, в основном сохраняется, а ударная гласная заменяется на другую. Подобный прием создает некий поэтический сдвиг, в результате которого возникает ощущение выхода в какое-то иное поэтическое измерение, а само стихотворение приобретает особую глубину и наполненность. Вот одно из стихотворений, написанных с использованием рифм-диссонансов, очаровавшее меня при первом чтении и ставшее одним из самых любимых.

В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.

На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.

Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

Можно было бы долго перечислять поэтические открытия В. Хлебникова. Но гораздо важнее отметить, что языковое новаторство было для него не самоцелью, а средством для выражения всей глубины и непостижимости своего поэтического мироощущения. По меткому высказыванию Ю. Тынянова, Хлебников никогда не «искал», он «находил».

Вот две замечательные находки В. Хлебникова.

О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!
 Что смеются смехами, что смеяньствуют смеяльно,
 О, засмейтесь усмеяльно!
 О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
 О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
 Смейево, смейево,
 Усмей, осмей, смешики, смешики,
 Смеюнчики, смеюнчики.
 О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!

«И смехачи, действительно, смеялись, — писал в статье 1914 года К. Чуковский, — но, помню, я читал и восхищался. И ведь действительно прелесть. Как щедро и чарующе-сладостна наша славянская речь!»

А вот один из опытов звукозаписи зрительных образов.

Бобэоби пелись губы,
 Вээоми пелись взоры,
 Пиээо — пелись брови,
 Лиэээй — пелся облик,
 Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
 Так на холсте каких-то соответствий
 Вне протяжения жило Лицо.

В записной книжке В. Хлебникова отмечено, что «бобэоби» должно ассоциироваться с красным цветом, а «пиээо» — с синим. Эти идеи Хлебникова перекликаются с попытками звуковой передачи цвета Артюром Рембо.

Уже первые произведения В. Хлебникова вызвали глубокий интерес у таких замечательных деятелей русской культуры, как Вяч. Ива-

нов, М. Кузмин, А. Блок, А. Скрябин, А. Ремизов. «В этом есть верная мысль, — говорил А. Н. Скрябин о процитированных выше стихотворениях Хлебникова, — можно творить новые слова, как мы творим новые гармонии и формы. Слово должно стать гораздо более текучим, чем оно сейчас... Языку надо вернуть его былую свободу...»

Влияние В. Хлебникова на русскую поэзию огромно, хотя еще до конца и не осознано. Было время, когда его пытались изобразить таким чудачком-одиначкой, чуть ли не сумасшедшим гением. Может быть, этим объясняется тот факт, что в 50-60-х годах многие наши поэты совершали свои поэтические «открытия», не сознавая их вторичности. Многое из того, что было тогда сделано ими, с лихвой «покрывается» одним стихотворением В. Хлебникова.

Я — отсвет, мученик будизн.
Я — отсвет славный смертизн.
Я — отцвет цветизны.
Я — отволос прядущей смерти.
Я — отголос кружущей верти,
Я — отколос грядущей зыби.
Я — звученник будизн.
Я — мученик немизн.
Немостыня будизны.

Особое место в творчестве Хлебникова занимает славянская мифология. Поэмы «Ночь в Галиции», «Вила и Леший», «Лесная тоска», «Шабаш», стихотворения «В лесу», «Русь зеленая в месяце Ай...» и многие другие наполнены ее светлыми и чистыми образами. Да и сам псевдоним поэта, Велимир, имеет южнославянское происхождение. Вот что писал Хлебников о своей пьесе «Девий бог» Алексею Крученых: «В „Девьем боге“ я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию».

Хлебников воскрешал и вводил в поэзию замечательные по своей напевности древнеславянские слова (например, «вабная» — красивая, ладная), конструировал на их основе новые («поюны», «времири», «женун», «облакини»), создавая таким путем целые стихотворения.

...Я звучу, я звучу...
Сонно-мнимой грезы неголь,
Я — узывностынь мечты...

Эта тема у Хлебникова перекликалась с темой Востока. В конце 10-х годов он побывал в Иране. Хлебников не столько путешествовал, сколько скорее странствовал по Персии: часто ночлегом ему служили придорожные барханы, а единственной едой — горсть лесной ежевики. Именно там его прозвали Гуль-муллой, священником цветов, и так называется его знаменитая поэма, написанная по возвращении из Ирана.

Особая и пока еще малоисследованная тема — историко-математические работы В. Хлебникова. Он считал, что исторические события подчиняются определенным числовым закономерностям, и, основываясь на своих работах, сделал ряд смелых предсказаний.

В частности, им в качестве переломных пунктов в истории России были указаны (в 1912 году) 1917-й, 1941-й, 1962-й (Карибский кризис) годы.

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стеклах рока.
Так скучны и серы
Обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное «нет»!
Я уже стер свое синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла — первую свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки,

Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.

В жизни В. Хлебников был человеком крайне неприветливым. Он настолько был погружен в поэзию, что реалии внешнего мира мало волновали его. В. Маяковский писал о том, что когда ему с огромным трудом удалось устроить платное печатание рукописей Хлебникова, накануне сообщенного тому дня получения разрешения и денег он встретил Хлебникова на Театральной площади с чемоданчиком. «Куда вы?» — спросил Маяковский. «На юг, весна!» — ответил Хлебников и уехал.

Виктор Владимирович Хлебников родился 9 ноября 1885 года в семье ученого-биолога в Астраханской губернии. В 1903—1911 годах он учился на физико-математическом и историко-филологическом факультетах Петербургского университета. В 1908—1909 годах он сблизился с поэтами и художниками, образовавшими группу «будетлян»-футуристов. В нее, в частности, входили братья Бурлюки, В. Маяковский, В. Каменский, Е. Гуро, М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Крученых. Но хотя В. Хлебников был, если можно так сказать, знаменем будетлян, он не «помещался» внутри футуризма, ибо сам по себе был эпохой в истории поэзии. Недаром в работах западных славистов (а на Западе Хлебников, как это ни печально, издается чаще, чем у нас) Хлебникова то ставят в один ряд с такими реформаторами языка, как У. Уитмен, Дж. Джойс, то объявляют предтечей дадаистов и сюрреалистов.

В. Хлебников прожил 37 лет (трагический возраст для поэтов!) и умер 28 июня 1922 года от заражения крови в деревне Санталово Новгородской губернии. Последним его словом было слово «да».

Не всякому даже хорошо разбирающемуся в поэзии человеку обязательно должен быть близок Хлебников. Тут многое зависит от взгляда на жизнь, мироощущения и многого другого. Однако тем, кто любит выносить поспешные суждения по поводу произведений искусства, будь то поэзия, живопись или музыка, полезно напомнить слова В. Хлебникова: «У судей могут быть все права, кроме права быть младенчески невинными в тех областях, которых они касаются».

Для тех же, кого действительно интересует поэзия Хлебникова, хочется привести высказывание одного из самых верных почитателей его таланта, писателя Ю. Олеши: «Читать его стихи стоит большого труда — все спутано. Внезапно появляется несравненная красота!»

Содержание



Предисловие	5
Посещение музеев	6
Случаи	10
Дар	15
Библиотеки	20
Коллекционирование	24
Поэзия	27
Признание	34
Селигер	37
Петровы	40
Друзья I	43
Друзья II	53
Математика	61
Школа	65
Мехмат	69
Общественные науки	76
Гражданская оборона	81
Распределение	86
Воспоминания об интернате	89
Стихи	96
Велимир Хлебников	121

А. А. Болибрух

Воспоминания
и размышления
о давно прошедшем

